

От переводчика. Классик украинской литературы, уроженец Кантемировки Евгений Плужник больше нам знаком как поэт. Сегодня мы предлагаем читателям его роман «Недуг», где автор размышляет о любви, которой «все возрасты покорны». Случившееся с главным героем вроде анекдот: в возрасте его толкает бес в ребро, семейный человек и солидный начальник вдруг по-мальчишески влюбляется в артистку. Впрочем, анекдот этот вполне житейский и на все времена, в котором есть добрым молодцам урок. Преподносит его Плужник с доброй улыбкой и грустью, с пожеланием — оставаться человеком в любой передраге, выпавшей на долю...

Напомним: герои книги — современники автора, время и место действия — рубеж 1920–1930-х годов, бывший в ту пору областным город Киев.

Роман дается в переложении на русский язык (в сокращении).

I

С морозной вечерней улицы густой, душный воздух фойе вялил грудь; казалось, не дышишь, а пьешь что-то пьянящее и теплое, отчего сладкая истома растекается по всему телу, а движения становятся вольнее да плавнее. Протирая запотевшее пенсне и на каждом шагу перед кем-то извиняясь, Иван Семенович протиснулся в

угол, в глубокой нише в стене, и, близоручко жмурясь, рассеянно разглядывал оттуда широкий людской поток, что двигался мимо него, обвитый терпкими запахами косметики и разгоряченного женского тела.

Монотонный, как гуденье пчел, гомон — ухо уже не выделяло отдельных звуков и голосов, а минутные наплывы тишины заставляли воспринимать его как что-то болочее и неприродное — широкими волнами катился отовсюду к ногам Ивана Семеновича, вызывая в нем ту досаду, что, не зная с чего, окутала его сразу, как вступил он в театр. Он уже пожалел, что согласился так попусту перевести вечер; небось ни развлечения, ни отдыха он не даст, за милую душу сидел бы сейчас у себя в комнате, что-то делал или просто читал. А вместо того должен он теперь нудиться тут целых четыре часа, слушая никак не интересную ему музыку. «Нет, очень нужно сейчас же отыскать Куницу и уговорить его вернуться домой: пусть он себе в другой раз без него, Ивана Семеновича, тешит свою музыкальную натуру». И Иван Семенович хотел уже втиснуться меж проходящими парами, когда почувствовал, как кто-то мягко взял его за локоть.

— Знаменательное событие — Иван Семенович в опере! — прогремел сзади глубокий певческий баритон. — Профбилетом присягаю, что вижу вас тут чуть ли не впервые!

Иван Семенович насупился и резким движением освободил свою руку. Из всех своих сотрудников меньше всего хотел бы он видеть этого горделивца и — убежден Иван Семенович — его недоброжелателя, от кого всегда так приятно пахнет дорогими сигаретами, а сейчас, кажется, еще и алкоголем.

— Вас это так удивляет? — полуобернулся Иван Семенович.

— Напротив... — просипел насмешливо Звирятин, — напротив, дорогой Иван Семенович. Только радует. Значит, народу совсем хорошо, раз вы, так нагруженный заботами о нем, начинаете жить культурной жизнью.

— Вроде раньше жил некультурно?

— Ну вот, вы уже гневаетесь... — грустно протянул Звирятин, безобидной улыбкой пряча насмешку, что прозвучала в голосе. — Я не сумел высказаться, простите! Ведь, дорогой мой, вы прекрасно понимаете, что я хотел сказать, и — будем щедры — целиком со мной согласны. Не спорьте, не спорьте, — замахал он на Ивана Семеновича пухлой, с широким браслетом, рукой. — Пусть хоть сегодня будет между нами мир, раз встретились мы на таком нейтральном грунте... В окружении правоверного пролетариата, — иронично заметил он, широким театральным жестом показывая на публику, роившуюся вокруг них.

— Пролетариата? — невольно переспросил Иван Семенович, внимательно осматриваясь.

— В любом случае девять десятых из них — члены профсоюзов. Трудовая масса, так сказать...

Между ними, блистая прическами и крашеными губами, голыми плечами и дорогими самоцветами, лаком ногтей и туфлей, текла публика оперных премьер. Женщины, что пришли сюда не только слушать музыку, но и показать свой наряд, а может, и обнаженные плечи да спины, выставляя бедра, ровно покачивали свои мягкие, пышные тела на тонких, до колен открытых ногах; вроде прижимая их, клонились к ним золотозубые, короткоштаные мужчины, такие непохожие на тех, кого знал и с кем работал Иван Семенович.

Приятное чувство обособленности и злой враждебности ко всем охватило Ивана Семеновича. Он глядел на них, как на что-то дивное и застарелое, что уже давно должно сгинуть прочь из жизни и, очевидно, совсем пропало с поля зрения. Так ему давно не выпадало бывать в таком обществе: те, кого видел он иногда — в час съездов или каких-то собраний — в этом самом театре, так мало напоминали всю эту публику... Среди них не было этих пышнотелых самок с низкими лбами

над густо подмалеванными глазами, этих задышливых, обрызглых мужчин с перстнями на пухлых нерабочих пальцах... И, вроде высматривая тех, близких и знакомых, Иван Семенович поглядел поверх толпы.

— Своих ищите? — понял его Звирятин. — Ваши не здесь, ваши выше... — И он показал глазами на широкую лестницу в конце фойе. — А тут, уважаемый, публика партера... Не по-вашему, а? Как же интересно: вашим врагам и теперь надлежат лучшие места в театре...

Иван Семенович, удивленный, молчал, поглядывал на собеседника. А тот, приглушая свой баритон, говорил далее, посерьезневший, а может, и насмешливый:

— Ну, а кто же? Они, нэп... Ну, и мы, вот я, например... «Спецы». Я не говорю о нас, как о социальной группе, или, может, как класс, мы уже вымираем, но пока весь класс умрет, каждый из нас успеет власть и досыта нажиться...

Он замолчал и сразу неискренне, как показалось Ивану Семеновичу, засмеялся.

— Представляю, какого вы теперь мнения обо мне! Мещанище, да?

И он искоса зыркнул на Ивана Семеновича: каким дивным созданием истинно неприкрытого презрения и страха светились его серые, а вблизи совершенно бесцветные глаза.

«И чего он вяжется ко мне? — с досадой подумал Иван Семенович, стараясь сдержаться, не выказать себя, — ведь знает, что не люблю я его!»

— Нет, лучше я уйду, — закончил он говорить, нерешительно шагнув из ниши.

— Куда же вы? В зал еще не пускают.

— Покурить...

— Тогда и я с вами.

И Звирятин, взявши его под руку, бережно, как жену, повел сквозь толпу.

В курилке было душно. Густые волны табачного дыма поднимались до потолка, синевато-серой кисеей обвивая электрические лампочки вверх; из-за того лики курящих казались землистыми и неприродно костлявыми.

«Часом, он не больной? — подумал Иван Семенович, глянув на Звирятину в этом освещении. — Небось вряд ли бы он отважился, здоровым будь, такое молоть...» И Иван Семенович припомнил, какой молчаливый и корректный был Звирятин на службе; недаром же «англичанином» прозвали его в управе.

— Изволите сигарету? — открыл дорогой, с вензелями, портсигар Звирятин.

Иван Семенович отказался и вытащил бумагу и табак, чтобы крутить цигарку.

— Напрасно, — пыхнул дымком Звирятин, — моя сигарета куда лучше вашего табака. Вот вам еще одна маленькая иллюстрация к нашему разговору про место в театре и жизни...

Иван Семенович пристально и сурово поглядел на него.

— Ну и?..

— Ну и все... — спрятал в сигаретном дыму свое лицо Звирятин. — Догадываюсь, что вы запомнили мое утверждение: теперь, как и прежде, все лучшее начинается с места в театре, — усмехнулся он, — принадлежит тем, кого вы гоните и поносите. Вот так. Кажется, звонок? — перебил он самого себя. — Доведется другим разом кончить нашу чрезвычайно интересную беседу?

И кинув недокурок, он поспешил из курительной.

Иван Семенович пошел следом, злой на себя, что — черт его знает почему! — не отчитал этого пана, как того он заслуживает! А между тем или не одинаково ему, что думает, как живет Звирятин? «И сколько их, таких Звирятиных, вот в этой ораве, что сунулась в зал... Беда только, что ему, Ивану Семеновичу, придется целехонький вечер среди них быть... А все из-за Куницы!.. «Пойдем да пойдем! Нужно же тебе развлечься и отдохнуть...» И уже не на себя злой, а на Куницу, Иван Семенович пошел к нише, где, как условились, он должен ожидать товарища.

Куницы там не было. Иван Семенович огляделся кругом — тоже нет. Этого только не хватало, чтобы где-то искать приятеля! Нет, пусть прощает. Пусть даже совсем не приходит, — Иван Семенович только рад будет: подождет немного, да и домой... И уже представил себя около стола, за книгою, при светлой лампе с зеленым абажуром.

Фойе опустело. Только поодиночке опоздавшие зрители пробегали еще мимо Ивана Семеновича, на бегу приглаживая свои прически; на миг останавливаясь при входе в зал, кое-кто удивленно и с любопытством поглядывал на уединенную фигуру в нише. Это бесило Ивана Семеновича: «Черт знает что! Почти силой затащить сюда человека, забрать билеты — и пропасть... Нет, только этот болтун Куница способен на такое!

Да и он сам, нечего греха таить, дурень бездельный! Очень нужно было переться сюда! Разве ты — меломан какой! Как же — гастролы славно известной Ирины Эдуардовны Завадской, чтобы она им всем обезголосила!»

И он начал остро и сурово укорять Куницу, какой неведомо откуда неожиданно вынырнул около ниши, красный и робелый.

Переведя дух и как-то комично выгибая шею, которую, видимо, тер необычно высокий крахмальный воротничок, Куница умоляюще прижимал ладони к груди и дробно выплясывал на месте, то шепотом, то во все горло приговаривая:

— Вань... Ванька... Ну что ты скажешь! Что бы такое стало! А?

Но пусть Ваня не гневается на него: больше он ни-ни. Он и сам понимает, что так нельзя делать — кинул друга в капиталистическом окружении... Но хлопцы надели — пошли, Куница, да пошли! Ну и развлеклись немножко пивком... тут, за углом... Конечно, Иван Семенович не поклонник этого харчотрестовского продукта, ну а он, Куница... А домой возвращаться — никак! Никаких — домой! Тут, можно сказать, такое событие — гастроль этой самой... как ее? Кармен! Как поют: «То-ре-адо-ор»...

И он силой тянул Ивана Семеновича к двери, за которой уже звучала увертюра.

Когда пропуская их в слегка приоткрытую дверь, капельдинер прошептал, возвращая билеты: «Четвертый ряд, налево», Иван Семенович вконец рассердился: дурень, еще бы на сцену вылез! «Омещаниваетесь, Куница...» — подумал он, закрывая за собой дверь.

В зале окутало их тепло, запах паров парфюмерии, темнота, полная какой-то тревожной, — дразнящей, как показалось Ивану Семеновичу, музыки. Увертюра кончалась. С низа зала уже стелился все крепнущий шепот, чтобы разлиться тишиной, когда дадут занавес; и когда, приглядевшись во тьме, Иван Семенович с Куницею пошли вперед по широкому проходу, на них со всех сторон зашикали, а кто-то во весь голос кинул: «Да не шаркайте так, дикари!»

Иван Семенович хотел было ответить зло и колко, вдруг сам услышал, как глосисто, — ему показалось, заглушая музыку, — скрипят его башмаки. Он съезжился и, задержав дыхание, на цыпочках догнал Куницу. Протиснувшись к своему креслу, он, зацепив чьи-то колени, взволнованно думал, так ли нужно идти по ряду, как он, лицом к стене, или, может, это неудобно — показывать свою спину тем, кто сидит сзади. Сел. Иван Семенович откинулся на спинку кресла и закрыл глаза: нужно отвлечься, пусть сплывет это смешное — нет, нелепое раздражение.

Иван Семенович усмехнулся, — это он срамится, что не умеет держаться на людях, робет перед всеми этими... звирятиными? Нет, это пустое! Не такой же он мелочный, чтобы беситься за свою неловкость перед темным залом! Чудеса... Это все из-за Куницы. Где уж, привел почти силой и покинул... Чудак какой: «Пойдем да пойдем, повеселишься, отдохнешь...» Он-таки вправду заботится об Иване

Семеновиче... Да, Куница о нем, как о младшем брате, беспokoится. Вот и сейчас наклонился. «Удобно тебе сидеть?» — спрашивает.

— Хорошо, хорошо, — прошептал ему Иван Семенович и ласково усмехнулся, не раскрывая очей, — так очень приятно слушать... Беда только, что почему-то не понимает он музыку, а слушать очень люблю. Нужно, видно, вправду ходить иногда в оперу... Если б только не так загружен работой... Вот и на этой неделе готовь необходимый центру материал. Возможно, самому придется поехать в Харьков, оно лучше, когда сам, надежнее...

Аплодисменты на миг отвлекли Ивана Семеновича. Он задумчиво поглядел на сцену, откуда светило-лилось горячее полуденное солнце, где искрились краски нарядов, резвые движения ослепили его, и он снова зажмурился, покачивая в такт головой. Сначала он прислушивался: или не разберет слов, или не поймет, о чем поют эти так смешно одетые люди, — военные, что ли; а затем не стал вникать, только слушал мелодии, которые то катились низом, то враз взлетали высоко-высоко и, казалось, таяли там под потолком.

Хорошие голоса... Особенно у этой девушки... У того тоже неплохой... тенор, кажется? А вот у Ивана Семеновича никогда не было голоса: он ведь и в детстве не пел. Так неудобно бывает иногда: все поют «Интернационал», а он лишь рот раскрывает, да хоть бы слово... Да и когда выступает — то пискнет, то вдруг басит. Смех, да и только.

Гром аплодисментов приглушил Ивана Семеновича. Он расплущился — и остолбенел. Прямо на него, — ему, Ивану Семеновичу, насмешливо, — сверкали со сцены горячие очи. Их взгляд, пылкий и невыразимый, пронзил Ивана Семеновича, вобрал в себя его глаза; взволнованный, он через силу отвернулся и поглядел вокруг. Зал раз за разом вспыхивал аплодисментами. Там, наверху, под самым потолком зарождаясь, они тяжелой лавиной обрушивались ниже и ниже и через голову Ивана Семеновича катились к ногам высокой, в черном наряде, женщины, которая, стоя на краю сцены, куталась в большой цветастый платок.

Тьфу ты, дьявол! Чтобы так задуматься! Не заметил ведь, как вышла эта самая знаменитость... Ну, конечно, это она — стройная, цыганского типа женщина, что так спокойно кланяется в черную пропасть бушующего зала... И с чего это подумал он, что смотрит она сама на него, аж никак! Она, может, и не смотрит совсем, а так... просто раскрыла свои неимоверно большие очи и, может, не замечает никого... Но у кого он видел этот спокойный, глубокий, какой-то невидящий взгляд? У нее! Конечно, у нее. То есть как у нее? Разве он ее знает? Разве он ее видел? Ирина Эдуардовна Завадская? Нет, такую он никогда не знал. Или же кого-то, очень на нее похожую, знал! И недавно, совсем недавно. Только где, где это могло быть? А может, он ошибается? Ведь часто это бывает... Да нет, ведь голос этот он слышал... И эти движения... И бедрами она так повела, как тогда... когда? Да когда же? — казнил Иван Семенович.

Казалось, еще одно, последнее, маленькое усилие — и память выдаст ему какой-то уголок минувшего, когда видел он эту женщину в цветастом большом платке... Вот маленькое усилие, и...

— Куда это ты? — потянул Куница за рукав Ивана Семеновича, поднявшего, как только опустился занавес, не дождавшегося, когда стихнут овации.

— Писаренко увидел, у меня к нему дело есть.

— Ты, Ванька, просто экспонат!.. Важненький дурень, — плелся за ним Куница. — Тут, можно сказать, искусство, а ты — дело!.. Холодная у тебя, Ванька, натура... Вот что... Холодная!.. А актриса... да-а... Матерьялец... Одни бедра чего стоят...

Писаренко они догнали при выходе из зала. Пропуская вперед других, он остановился, живо разговаривая с военным, который окидывал внимательным взглядом каждую женщину.

— Ну, как? — встретил Писаренко Ивана Семеновича и сразу, не дожидаясь ответа, добавил: — Чрезвычайно! Это талант!

— Да-а... бабочка на яты! — прикинул военный.

— У меня к тебе просьба, — отчего-то шепотом, сам удивляясь, сказал Иван Семенович. — Ты театрал, то, может, знаешь... Кто она, откуда... И вообще...

— Что? — вытаращился на него Куница. — Ничего не понимаю!

— Да тут и понимать нечего... — засмеялся Писаренко и пригрозил пальцем. — Гляди мне, Иван! — И сразу иным тоном закончил: — Да и бледный же ты! Болеешь, что ли?

— Нет... Утомился, может... Так вот, не знаешь?

— Не знаю, — вспоминая, протянул Писаренко. — Хотя сейчас узнаем.

— Товарищ Мюфке! — позвал он кого-то из толпы.

К ним, как-то дивно, постоянно приседая и потирая свои короткие, густо поросшие рыжим волосом руки, подскочил низенький не то хлопчик, не то дедок с величественною патлатою головой.

— Рецензент Мюфке, — представил его Писаренко. — Так вот, товарищ Мюфке, — остановил он рецензента. — Не знаете ли вы, кто она, эта самая Завадская?

— Кто она? Ее биография?

— Вот-вот... биография... — обрадовался Иван Семенович.

К сожалению, Мюфке не знал биографии Завадской... Но он будет знать. К следующему антракту он все узнает. Пусть товарищ Писаренко ждет его во втором антракте, он, Мюфке, даст ему все нужные сведения. Даже больше...

И все так же потирая свои волосатые руки, рецензент нырнул в толпу.

— Этот дознается, — подтвердил Писаренко. — Мастер! Еще от старого режима наследство. А ты плохо-таки выглядишь, — повернулся он к Ивану Семеновичу. — Подлечись... Я все собираюсь к тебе, да как-то...

Раздался звонок.

Сев, Куница незаметно глянул на Ивана Семеновича. Тот уже откинулся на спинку кресла и зажмурился. «А он и вправду больной, — подумал Куница, внимательно разглядывая лицо приятеля. — Глянь, как глаза запали. Да-а... история... И кому какое дело до этой... стервы? Ах, выкручивается... Ну, не черту пара женщина — так танцевать! Черт, а не баба... — невольно толкнул он локтем в бок своего товарища. — Да-а...»

Да Иван Семенович и сам пас глазами каждое движение этой высокой женщины в цветастом большом платке...

И вдруг будто холодным и острым лезвием полоснуло ему по спине, — диким взмахом оборвала Кармен свой пылкий танец, под гром аплодисментов прыгнув со стола; легкой тучкой обвило ноги ей черное одеяние, высоко открыв стройные по-девичьи ноги, и серебряным холодным лезвием облегла черное трико по бедрам узенькая каемка тонкого кружева...

— Это же наша панянка! — голосисто, Кунице показалось — на весь зал, крикнул Иван Семенович.

II

То ли неслыханная музыка как-то по-иному настроила его нервы, то ли воспоминания, которые, зароившись вокруг Завадской, слились потом с широкими, как и все ночное, невыразимыми думами, — и все вырастал на столике возле кровати ворох окурков, все жестче становилась под утро горячая подушка. Когда означились окна мутными синими пятнами, Иван Семенович уверился ждать сна; не зажигая свет, он оделся и на цыпочках, чтобы не разбудить кого, вышел на крыльцо.

Позднее зимнее утро только началось. На востоке, за темными кубами заводских строений, ширилась помалу узкая волнистая синяя лента, а вверху, над головой Ивана Семеновича, небо было по-ночному серое, укрытое грубым ровным пластом тяжелых снежных туч. Вдали на западе они ложились все ниже; там, где на холме маячили невыразительные контуры города, тучи разливались черной массой. Веял оттуда звонкий, пахнувший близким снегом, ветер.

Иван Семенович расстегнул бекешу и снял шапку, на полную грудь вдыхая утреннюю свежесть. С бессонницы тело будто пьянило; в голове звонило ровно и постоянно. Иван Семенович взял в руки чистый пухлый снег, что тяжелыми кистями висел на ветках сирени вокруг крыльца, и приложил его к горячему лбу; резкий нервный холодок сбегал волнышками на плечи и приятно ласкал спину. Он томно прижмурился, довольно чувствуя, как возвращается к нему обычная утренняя бодрость; потом вытащил портсигар, на ходу скручивая ловкими пальцами большую сигарку, начал спускаться с крыльца.

Вокруг было тихо. Только из-за двухэтажного дома управы слышалось иногда, как утомленно, вроде сквозь сон, дышал завод, да со стороны города долетал когда-никогда приглушенный невыразительный гул. А в конце двора, в доме, где отведены квартиры кое-кому из администрации и инженеров, светились два окна тихим красноватым огоньком.

«Что это у него горит, лампадка, что ли?» — усмехнулся Иван Семенович, вспомнив вчерашнюю, в опере, беседу со Звирятиным. Был этот инженер теперь еще больше неприятен ему; обуревал Ивана Семеновича тот спокойный цинизм, который слышался в каждом слове Звирятина. А потом, разве это не естественно для человека такого типа — жить только для себя и собой, особенно теперь, смерть своего класса и уклада переживая? И будто жалость к этому выхоленному и самолюбивому мещанину охватила на миг Ивана Семеновича; какого духовного холода нужно изведать, чтобы, на все рукой махнувши, тешить себя тем, что на твой век, мол, хватит наслаждений и выгоды!

«Первое место в театре», — вспомнились ему слова Звирятина.

«Зато последние роли в пьесе», — добавил тогда он.

— Кто это? — остановил его на воротах хриплый с холода и бессонницы голос. Иван Семенович отозвался.

— О! — удивился сторож Свирид. — Чего это вы, Семенович, так рано?

Брякнули ключи, и Иван Семенович вступил на задний заводской двор, заваленный углем да кучами старого железа. Острый запах ржавчины приятно услаждал; он бодрил его, напоминая натруженную — до горячего пота — работу...

— Не спится? — спросил Свирид, сладко позевывая.

— Да... Так чего-то... Думки всякие.

— Бывает, — участливо согласился Свирид, протянув руку за табаком.

Голубоватая лента на востоке ширилась. Узкими ручейками вливалась синева в серую наволочь туч, серебря их курчавые края, нежным блеском отражаясь в снегах. Припорошенный антрацит играл кое-где, будто дорогие самоцветы; казалось, разбросал кто-то нестерпимо белые огоньки низом, а вверху золотистые — там пробивался первый луч. И когда золотой стрелой сверкнул он через простор, зажег высокую над управленческим подворьем антенну и жаром залил окна большого города на взгорье, — запела ему навстречу земля. Где-то в глубине ее зародившись, лился тот напев все выше и выше, купая в себе стаи розовых утренних голубей.

Первым подал свой голос Красный. Хриплый, он долго стелился низом, пока не подхватил его соседний — Трубный; тогда поднялись они — такие широкие и мощные, высоко в небо, что, казалось, не тронули преддневной тиши. Им откликнулся Литейный, звонкий, как охотничий рог; за ним — Железнодорожные мас-

терские, больше по ту сторону города — мельницы; и в минуту плыв над полями и городом хор торжественных и зазывных фанфар.

Иван Семенович слушал его напряженно и радостно, почувствовав, как возвращаются к нему уверенность и покой, сила и крепость. Чувствуя себя молодым и дюжим, как давно когда-то, в юности, как там... на качелях.

— Ты не с Таланского завода? — спросил он сторожа. — Ты же из Донбасса?

— А то откуда? — пожал плечами Свирид. — Ясно, с Донбасса! Да не с Таланского... До революции на Григорьевском работал. Ну, а как откусил руку Деникин — какой работник? Прибило сюда, сторожую, — сплюнул он окурком на рыжий, с углем смешанный снег.

— А я с Таланского, — мечтательно вспомнил Иван Семенович, сев на лавку у караулки. — Там и начинал. Тамошний я, — пояснил он задумчиво. — Да, как и тебя, прибило сюда; уже и связь утратил. Сам не ездил туда ни разу, да и не видел никого оттуда сколько лет... Да... — И, просияв улыбкой, добавил: — А вот вчера увидел... Да не товарища... Нет. А бабу одну...

— Бывает, — поддакнул сонно Свирид.

— Она и незнакомая мне... Где там! Был у нас на Таланском главный инженер Павленко — так это дочка его, единственная. Теперь она певица известная, в опере выступает... И фамилия у нее иная — Завадская. Говорят, замужем была, да бросила, что ли, мужа... Или с белыми отступил, не знаю...

Иван Семенович подумал, что неинтересно, верно, Свириду все это слушать, но не замолчал — хотелось ему выговориться до конца.

— Я и не узнал бы ее, может, да танцовщица высоко открыла ноги...

— По ногам приметили? — заинтересовался Свирид, косо глянув на Ивана Семеновича.

— Н-да, по ногам, — протянул Иван Семенович, не заметив, что смешок прозвенел в голосе Свирида. — А ведь как — удивительно! Ты, может, думаешь, что, так это зря... Не знал я ее — ты же слышал: главного инженера дочка-одиночка! «Панянка» называли, ведь гордая была — страх! Однажды возвращались мы, хлопцы, — мне тогда лет двадцать было — утром с речки... Чтобы ближе — заводским парком пошли, меж домами администрации... Идем, балуемся. А утро веселое и солнечное... В июле, на праздники. Когда смотрим, а на качелях — ставили их на Троицу — панянка. Да нет сил — не раскачается. А около качелей немолодая уже женщина, немка, что ли. Увидела нас, лопочет что-то панянке, а та ничего, будто и нет нас... А хлопцы подмаргивают: «А ну, Иван, качни!» Вскочил я на качели те, раз! раз! — раскачал так, что аж в ушах свистит ветер! Кричит немка внизу, зонтиком машет, а панянка — ничего; вижу, лишь побледнела немножко да губы стиснула.

«Страшно?» — кричу ей.

Может, не расслышала — не знаю, однако же ничего не отвечала и только вызывающе на меня смотрела.

«Еще?» — окликаю, а сам изо всей силы поддал, дух захватывает! А она хоть бы что, только, усмехаясь презрительно, смотрит на меня глазами невидящими. Так и летали мы, глаза в глаза всматриваясь, будто взглядами силой мерялись... Задумал я тогда заставить ее заговорить — умолять, чтобы остановилась! И заставил бы! Да! — выкрикнул Иван Семенович пылко. — Да ветер нашкодил...»

Он умолк, на минуту зажмурясь — чтобы вспомнить яснее — и усмехаясь утешно, пояснил:

— Закатал ей ветер платье, высоко открыв ноги, до белых кружев на бедрах...

— Ну? — не сразу поверил Свирид, а поняв точно, хихикнул. — Бывает...

Иван Семенович потянулся томно и устало:

— Не хватало сил мне тогда в напуганные очи смотреть... Бросил я качели. —

И, помолчав, закончил: — А вчера узнал — и вспомнилась юность! Эх! — расправил он впалую грудь и почувствовал, что нужно занять ему себя, пошел в конец двора, где рабочие начинали кидать уголь в вагонетки. Взял лопату и работал долго — молча и старательно, будто под суровым доглядом. Когда же теплом налились мышцы, а вспотелое лицо припало пылью, кинул лопату и, не торопясь, пошел домой.

Там никого уже не было. «Родня, — зло подумал Иван Семенович, сам удивляясь, отчего неприятно ему сегодня. — Неделями не видим один другого...»

Быстро умылся и, так-сяк позавтракав, поспешил в управу.

В кабинете навстречу ему поднялся с дивана инженер Звирятин.

— Добрый день, директор! — приветствовал он Ивана Семеновича по-пионерски, покусывая тонкие бледные губы, подошел к окну. Видимо, хотел что-то сказать и не находил слов.

«Ага, — злоутешно подумал Иван Семенович, — отбой бьешь!»

И равнодушно-притворным тоном спросил:

— Ну, как же, инженер Звирятин? Лучшие места в театре, а?

Тот кинул на него взгляд быстрым да зорким и попытался засмеяться: «Не забыли, директор? Хе-хе-хе...» Но не посчастливилось ему со смехом, не звенел, рассыпаясь дробно, а падал сухими отдельными камешками — насильный. Бросив смеяться, Звирятин, на себя гневный, сказал Ивану Семеновичу с вызовом:

— Разумеется, товарищ Орловец! Лучшие места. Те, что, хочешь не хочешь, должны вы нам отдавать, ведь без нас вы как без рук!

И, перехватив взгляд Ивана Семеновича, гневный и презрительный, замахал досадливо рукой:

— Знаю, знаю, директор! Недолго. Говорю, вырастут у вас руки свои — молодые... Знаю! А мне долго и не нужно. Лишь бы на мой век хватило. А за себя я совсем спокоен — звирятиных, уважаемый, немного, на пальцах пересчитать можно... Имя!

Он выпрямился среди кабинета, широкий и тучный, и не наигранным уже, счастливым смешком зашелся, доверительно, вроде давнему другу, говорил:

— А что мещанин я, многоуважаемый, что, так сказать, подло только о себе радеть, — пустое это слово! Я раз живу и недолго — природой заказано, что хочу взять от жизни не только больше, но и лучше... Да разве один я такой? Все мы одинаковы. Только о лучшем, может, по-разному понимаем...

Иван Семенович хотел ответить, что, наверное, он иначе это понимает, но перебил его Звирятин холодно и решительно.

— Не говорим об этом, директор! Потому что говорить об этом — нужно искренним быть. Я-то могу, я все своим именем назову, ну а вы... Футлярчик на вас...

— Что? — удивился Иван Семенович.

— Скорлупица. А что там у вас внутри, в зернышке, вы и сами, простите, не знаете. Ибо считаю, — иронично скалил он зубы, — обо всех и за все вы никогда, может, не думали. Как же вы можете увериться, что вы лучше меня, что я — мещанин, а вы — нет? А может, колупнуть вас хорошо — то мы одинаковы, а? Во всяком случае, почтенный, обоим нам не горького хочется, а сладенького. Да!

Он замолчал, обрезал сигару и потом, раскурив, иным тоном, обыкновенно, спросил:

— Ну, а опера вам как? Точнее, не опера, а актриса? Ведь не актриса, — усмехнулся он, кольцами дым пуская, — а женщина?

— Вы про... Завадскую? — не желая того, спросил Иван Семенович, удивляясь, что не обрывает этот разговор.

— А о ком же еще? — проворкотал Звирятин. — О ней. — Как блудливый кот жмурил он очи. — Вы обратили внимание, почтенный? Фигура... Рука... А ноги!

с баритона на высокий тенор перешел он, заволновавшись: — Да все, все! Нос, подбородок... На щечках ямочки... Зубы, улыбка... Вы обратили внимание, директор, вы припоминаете?

Почувствовал, что обволакивает его минувшее бессонье тяжелой усталости, оперся Иван Семенович о стол.

— Вы все это так расписываете, — промолвил он нудно, — будто...

— Будто имею что в виду? — подхватил насмешливо Звирятин. — А имею, многоуважаемый, вы не ошиблись! Все то же: что все лучшее принадлежит нам, наше. Даже женщины! Лучшие из них, те, на кого горячими глазами смотрят тысячи... Эта самая Завадская — она наша. Понимаете? Наша! Культурой, привычками, вкусом, симпатиями...

Полной грудью набрав воздух, видимо, собирался говорить долго, да вошел в кабинет инженер Сквирский, и Звирятин промолчал. Отошел от окна и, наклонившись к подоконнику, встретил Сквирского колючим взглядом. Тот широко, вроде деревянными ногами ступая, подошел к столу и, каждого с ног до головы внимательно оглядел, сказал без интонаций и даже без ударений, казалось:

— Я зашел напомнить вам, что сегодня в девять совещание...

Раздражая всегда Ивана Семеновича, этот молчаливый, в большинстве случаев по-немецки аккуратный инженер напоминал ему хитро сделанный автомат: раз заведенный, действовал, пока пружины хватало.

— Совещание? — недовольно переспросил Иван Семенович, почувствовав, что не хочет он еще и вечером видеть этих помощников своих, и неожиданно кинул: — Я не буду.

— Не будете? — удивился Сквирский, а Звирятин промямлил что-то непонятное, следя за кольцами табачного дыма.

— Да, не буду! — решительно заявил Иван Семенович и, спокойно и вызывающе в Звирятина всматриваясь, процедил:

— Я сегодня в оперу иду.

III

Взял билет; первое, что пришло на ум Ивану Семеновичу — взять и порвать эту розовую бумажку, выйти прочь на заваянные снегом безлюдные улицы и снова стать обычным, спокойным и ровным, — когда ясно тебе все и понятно, — каким ты был до этого безрассудства! Глупости ведь — вместо того, чтобы выспаться после бессонной ночи и сесть за привычную и интересную работу, слоняться по городу до синего вечера, как будто стараясь обдумать что-то важное и неотложное, когда, собственно говоря, не о чем думать; а теперь, как и накануне, толкаться у этих широких дверей, за которыми, не зная с чего, окрутит его досада... А на кого же, как не на себя, может он досадовать сегодня? Ведь никто не умолял его сюда идти; это его собственное желание и воля...

«Желание!» — криво усмехнулся Иван Семенович, бережно складывая билет и пряча его в карман. Желание чего? Услышать музыку? Когда же стал он таким любителем, что два вечера кряду может и хочет слушать ту самую «Кармен»? И почувствовать, как горячо он краснеет, злится, будто нападая на кого, а не оправдываясь. Да и чего он должен оправдываться? Перед кем? Что тут такого, если хочется ему еще раз посмотреть на Ирину Завадскую? Так, так, посмотреть, а не послушать! Что в этом нехорошего или неприродного, спрашивает он.

— Что же вы стоите в двери! — нетерпеливо толкнул его кто-то сзади. — Проходите туда или сюда!

— Я сюда! Я сюда... — захлопотал Иван Семенович и шагнул в фойе, где, как и вчера, роилась публика.

— Я сюда... — вполголоса проговорил он, устремившись в раздевалку, почувствовав, что приятно ему быть в этой живой, такой праздничной толпе. Разумеется, приятно! Ведь не каждый день выпадает видеть столько веселой, с сияющими глазами, молодежи, столько красивых, одна на другую не похожих женщин... И никто, конечно, не виноват, только он сам, что стал такой нервный и раздраженный: давно уже нужно ему отдыхать час от часу на людях, это так хорошо действует на нервы; вечер в театре, например...

И, ласково сам улыбаясь, Иван Семенович вошел в зал.

Наполовину освещенный и еще почти совсем пустой зал повеял навстречу приятным бодрым холодком да звонкой тишиною. Вдыхая полной грудью, Иван Семенович проскрипел башмаками до своего — как и вчера, в четвертый ряд — кресла и, сев, удобно расслабился. Бессонная ночь и дневная усталость давали о себе знать: ноги в суставах ныли и вроде мелким песком резало глаза; смотреть было тяжело, а против яркого света — то и больно.

«Это хорошо, что взял место так близко к сцене: издали сегодня вряд ли бы рассмотрел ее», — подумал он, почему-то вспомнив, как оборвала она вчера пляску, вся страстная такая и разом спокойная, а черный наряд взвихрился вокруг ног, обнажив круглые колени с белой молнией кружев над ними...

Зрителей прибывало. Сначала одинокие голоса их теперь сливались в единый непрерывный шум; казалось, гудит какая-то невидимая могучая машина...

— Это говорю вам я, Иван Скорик, а мне поверить можно, — прорезался позади Ивана Семеновича чей-то хриплый, а все же богатый модуляцией голос: — Сроду не врал, да и теперь не имею чего врать...

И Иван Семенович услышал, как за его спиной, посапывая и тонко носом прихвистывая, кто-то тяжело опустился в кресло, что оно жалобно заскрипело.

— Бывал я по границам всяким, — после паузы продолжил тот же самый голос, — и империю Российскую в свое время всю исходил-объездил, некуда грех девать, да я и не кроюсь с ним, сам когда-то антрепренером был — тоже слышал и видел немало всяких Кармен, а говорю вам, что такой, как эта Ирка, не видел... Не слышал... Да...

— Ну, конечно, — пропел, ему отвечая, сладенький тенорок. — Вся Европа признала Ирину Эдуардовну.

— Что та Европа, — невежливо зевнул первый, — когда я ее признал!

Иван Семенович мелко посмотрел на собеседников. Разговаривало трое: большой, вроде распухлый, актерского склада старикан, который все время посапывал носом, как рыба, хватал воздух, далеко выставляя до синевы бритые губы; прыщеватый, уродливо горбатый юнец, с приметным самоцветом на ярком галстуке, и длинноволосый, с сединой уже, то ли дякон, то ли профессор, что, тихо подкашливая и, показалось Ивану Семеновичу, брызгая слюной, начал рассуждать про высокие, весьма известные особенности пения и игры высокочтимой Ирины Эдуардовны Завадской, настоящей красоты нашей молодой... кгм... кгм... пролетарской оперы. Он, Иероним Трехсветский, — «Это для меня сказал, наверное», — показалось Ивану Семеновичу, — не раз уже имел удовольствие узнать про все это в центральной и местной прессе. Так, он склоняется, что лучшей Кармен свет не выдывал. Такой тонкости музыкального рисунка... кгм... кгм... такой пластичности и одновременно насыщенности движений... Такой художественной интерпретации страсти — а что же такое Кармен, как не сама страсть? — давно не видела опера.

Тут вмешался горбун и начал петь о страсти вообще, да о философии страсти, о музыке как стихии страсти, да о «Кармен» как наипрактичнейшей опере, пока не остановил его старикан, внезапно захрипев басом.

— Да-а, — будто спросонья перевел дух, — великий нужен темперамент, чтобы так исполнять...

— Ну что до темперамента, — закашлял горбун, — то Ирине Эдуардовне его не занимать! О ней говорят...

И он шепотом, захлебываясь от смеха, поведал такое, с чего зашелся приглушенным хохотом грубый Скорик, а его как-то по-деркачиному поддержал Иероним Трехсвятский.

«Все вы одинаковы, — с отвращением пожав плечами, подумал Иван Семенович, — начинаете про искусство да идеалы, а кончаете...»

Да и запнулся, вдруг припомнив почему-то, как оборвала пляску, страстную да обольстительную — огнем мелькнула кромка кружев в шелковом шуме черного наряда...

Иван Семенович широко раскрытыми глазами слепо смотрел на кроваво да золотом разрисованный занавес.

— Товарищ Орловец! — окликнул его из прохода, потирая лохматые ручки свои, Мюфке. — Добрывечер, товарищу Орловец!

Иван Семенович поднялся и, тяжело ступая, опустив глаза в пол, пошел к рецензенту. Казалось, он давно и нетерпеливо ждал этого маленького человека, имея срочное к нему дело...

— Вот и вы... — как-то легко выдохнул Иван Семенович, протягивая рецензенту руку.

Тот ухватился за нее своими мохнатыми, потными лапками и топтался перед Иваном Семеновичем, потрясывая рыжими патлами.

Он очень рад видеть и сегодня товарища Орловца, очень рад.

Товарищ Орловец не абы какой меломан, а? Два вечера на «Кармен»... А в этом что же тут удивительного, — Завадская всех сделает меломанами... Он, Мюфке, в этом уверен... А доволен ли товарищ Орловец теми сведениями о певице, какие дал вчера ему Мюфке? Так, так, он сам знает, что биография еще неполная, ведь он имел так немного времени... Да уже сегодня может добавить кое-что свеженькое, хотя бы столько пикантных подробностей...

— Так вы вот что... — все еще глядя вниз, остановил рецензента Иван Семенович. — Мне нужно видеть ее... Так вы постарайтесь...

— То есть как? — сбился Мюфке, и сразу хитрые огоньки забегали в его глазах... — А... понимаю, понимаю... Ах, вы же меломан какой! Хе-хе-хе...

И он игриво подмигнул Ивану Семеновичу.

Тот насушился и сурово, просто в рецензентовы глазки, что сразу заморгали испуганно, глядя, сказал:

— У меня дело к ней... Да-а... важное дело... Так мне нужно видеть ее сегодня... сейчас...

— Сейчас? Это не так просто...

Конечно, раз такое важное дело, он, Мюфке, попытается... Так, так, он не обещает наверняка, он только попробует... И еще раз, то ли понятно моргнув, то ли напуганно, он нырнул в густую толпу в проходе.

Иван Семенович еще постоял, задумчивый, среди прохода, стесняя других и не замечая этого, потом сразу повернулся и пошел к своему креслу.

Вытащил платочек и долго вытирал вспотевший лоб, шею.

Что случилось? Что делалось, будь оно трижды проклято! Ой, нет, только не злиться. Но как же могло все это случиться помимо его воли, неожиданно-негаданно?

Иван Семенович беспокойно зашевелился.

Неожиданно? Да-а? С вчерашнего вечера не идет у него из головы эта высокая, в платье цветастом женщина... Ведь это о ней — не словами, а как-то глубже, сам того не понимая, — думал всю бессонную ночь и весь нерабочий, а такой утомительный день... Да и теперь... Разве не приятно ему теперь знать, что вот через несколько минут раздвинется занавес — и все увидят ее, такую жгучую, да и спо-

койную Кармен, а он немножко иную — стройную девушку в объятиях синего неба?

И пил жадно тревожную музыку, что лилась с кончика дирижерской палочки...

Собственно, чего он волнуется? Конечно, случилось все это немножко смешно, вылилось во что... Но он же просто, душевно все ей объяснит, и она поймет...

Да, когда вышла, цветами и овацией, как и вчера, встреченная, спокойно и, казалось, презрительно всматриваясь в море голов перед собой, зная, что ничего не сможет ей пояснить, ведь и сам ничего не понимает... Лучше всего: встать и тихо, башмаками не скрипеть, выйти отсюда прочь, чтобы никогда и на глаза не попадаться этой женщине, выйти спокойным таким, вроде ничего не случилось. Да разве это новое для нее? Привыкла, наверное, что лезет к ней всякая... сволочь...

И густо побагровел, склонил голову, не глядя больше на сцену, слушая только, как тяжелеют руки да ноги и звоном наливается голова...

В антракте протиснулся к нему Мюфке, озабоченный, торжественный.

— Идемте! — схватил он за руку Ивана Семеновича и потащил его к выходу из зала.

Раздвигая перед ним толпу, рассказывал, улыбаясь, что удивилась очень, сначала и отказывалась решительно, да не такой Мюфке, раз взялся сделать! — сказал, что дело к ней у товарища Орловца важное...

— Какое дело? — не понял Иван Семенович, да спохватился, ведь сам это говорил Мюфке, поддакнул, краснея горячо: — Так, так... Дело у меня...

Как подошли в коридоре к маленькой, сразу неприметной дверце с надписью над нею «Посторонним вход запрещен», заколебался Иван Семенович, однако же — сильно держал его за руку Мюфке, — не остановился...

Шли узенькими кривыми коридорчиками, затем полупустыми комнатами с дивной, беспорядочно нагроможденной мебелью. А дальше все чаще пробегали мимо них какие-то озабоченные, потные и будто совершенно растерянные люди; наталкиваясь на Ивана Семеновича, они непонятливо смотрели на него, сбитые с толку тем, что мешает им кто-то бежать свободно, потом, ускорив шаг, пропадали так же внезапно, как и появлялись...

— Вот вам и фабрика развлечений, — только пояснил Мюфке, как раздвинулись широкие стены, а потолок поднялся высоко, в густыхверху тенях пропадая. Справа, в полутемном провале, ровно и приглушенно гудели где-то, под полом, может, машины, а в самом центре покачивались медленно какие-то причудливые строения — мешанина дерева, картона и рисованного полотна: рядом сутились серыми тенями люди, что-то таская да переставляя. «Как на заводе», — подумал Иван Семенович, отметив, что большинство из них в синих рабочих халатах, и поспешил за Мюфке, убегая от презрительного крика, который доносился сверху откуда-то:

— Санько-о! Черт! Куда тебя занесло?

— Быстрее! Быстрее! — дергал его за руку Мюфке, сворачивая в высокий, ясным светом залитый коридор. — Стойте тут. Я скоро, — поставил он его в углу под стеною и с ходу потерялся в светливой яркой толпе. «Артисты»... — заметил себе Иван Семенович, почувствовав на миг, что и он не обычный Иван Семенович, а вроде играющий какую-то роль, чудную, ему самому неприятную... И будто жирный грим стирали с лица мелкие капельки липкого холодного пота...

— Идите! — возник перед ним Мюфке и добавил: — Я вас подожду! — толкнул в маленькую дверь.

— Кто там? — поплыл навстречу Ивану Семеновичу такой знакомый теперь голос из-за темной шелковой шторы, что разделяла надвое небольшую комнату.

— Это я... — выдавил он наконец хриплый ответ, все еще под дверью стоя...

За занавеской послышался приглушенный смехок.

— Это о вас говорил Ля-Бемоль? Мюфке?

— Да, обо мне... Я — Орловец...

— Простите, товарищ Орловец, что не могу вам сейчас показаться — переоденная. Садитесь там на диване, поговорим...

Иван Семенович сел и, не оглядываясь кругом, впился глазами в большой портрет Завадской, что висел напротив. Молчал тяжело, прислушиваясь к тихой возне за шторой.

— Вы еще здесь? — удивленно спросили откуда-то, и молоденькая девушка в белом высоком фартуке пробежала мимо него к шкафу в углу и снова назад, за штору. — Что же вы молчите?

«Я сейчас», — хотел сказать Иван Семенович, да дикая злость на самого себя колом застряла в горле — ну за каким чертом он здесь, в уборной какой-то певички, на смех ее горничной!..

— Мюфке сказал, что вы с важным делом ко мне, — уже раздраженнее зазвучало в голосе певицы. — Так говорите...

— Да, дело у меня... — заволновался Иван Семенович. — То есть не дело, нет... А так... Я старый ваш знакомый... Даже не знакомый... ведь вы не знали меня никогда... А я вас знал. Давно когда-то знал. Еще в юности. Еще на Таланском заводе... А вот увидел теперь — и нашли воспоминания... И припомнил, может, и не признал бы, да как увидел ваши ноги...

— Что? — заскрипела стулом певица, а горничная ее, не сдержавшись, чмыкнула.

— Ноги ваши... — глотнул густую слюну Иван Семенович, — на первой гастропроле... Как танцевали, закатился у вас подол платья...

— Да что вы говорите... товарищу! — вышла, взволнованная, из-за шторы Завадская, в цветистый большой платок кутаясь. — Что? Уже начинаем? — и обернулась она на скрип двери.

— Начинаем! Начинаем! — прогудела чья-то взмокшая от пота голова, сразу же за дверью исчезнув.

— Так вот, товарищ, нужно мне идти петь...

Она поважничала немного и, усмехнувшись чему-то, добавила:

— А вам очень хотелось бы еще со мной... поговорить?

Засмеялась весело и сердечно.

— Хотелось бы... — отступил к двери Иван Семенович.

— Ну, так мы сделаем так... — подумала она. — В антракте все одно ничего не получится, то вы лучше подождите меня после спектакля около актерского подъезда... Ладно?

— Ладно... — уже с другой стороны двери, возле Мюфке, ответил Иван Семенович.

— Что? — подскочил тот, не то удивляясь, не то понятиливо моргая.

— Ничего! — отрубил Иван Семенович и, тяжело дыша, пошел вперед, — не в зал, а в гардероб: оделся и, не торопясь, вышел из театра.

Площадь и широкие улицы, что расходились радиусами, уже обезлюдели. Залитые синеватым электрическим светом, виделись они Ивану Семеновичу просторнейшими, чем обычно, и четкими; казалось, острым карандашом обведены суровые контуры домов, каждая черта на них, густые положены тени, во впадинах и подворотнях...

Однообразная перспектива улиц манила вперед — сколько ни ищи, так схоже высятся по сторонам ровные стены молчаливых домов, одинокие прохожие не собьют спокойной мысли... А главное — не вернешься больше в то галдежное, душное фойе, не увидишь ту высокую, в платке цветастом женщину...

Иван Семенович кружил подле театра, злой на самого себя, единое желание — сейчас же домой убежать — в себе заглущая.

Нет, хоть бы там что, а нужно остаться до конца; может он до конца вытерпеть это безумие... просто для того, чтобы хоть немножко если не выправить, то хоть бы загладить свое идиотское поведение! Конечно, идиотское! Иначе его и не назовешь... Вломиться к незнакомой женщине — неведомо ведь за каким чертом! — и такого дурня свалить...

Густо, даже ладони его потели, краснея, припоминал Иван Семенович глупую сцену в артистической уборной Завадской, как и там, чуя, что пересыхает в горле, щекочет неприятно...

Зашел в ближайшую пивную и, слушая польки-вальсы, опустошал бутылку за бутылкой. И чем больше пил, тем все спокойнее ему становилось. Ведь и правда, чего стоит из-за всего этого волноваться? Ну, вышло это, конечно, нехорошо немного — а больше смешно! И все это можно загладить и ликвидировать. Он ей все пояснит, просто и душевно, и она — разумеется, чуткая — все поймет и простит... Посмеется чуток, это так... А смеется она, верно, очень приятно... Соковито.

И все пытался припомнить, смеялась ли она тогда на качелях.

Когда вышел из пивной, в театре уже гасили свет; одно за другим, напоследок мигнувши, стемнели окна и широкие двери фойе. «Опоздал», — подумал Иван Семенович, скорее радуясь, нежели жалея, и сразу же услышал грудной переличатый смех Завадской. Шла из театра, взяв под руку неохватного, как медведь, человека.

«Я где-то видел его», — хотел припомнить Иван Семенович и, тяжело ступая, пошел навстречу.

— Товарищ Орловец? — певуче спросила Завадская и сейчас же повернулась к своему спутнику. — Ну, Скорик, твоя миссия закончена... Иди спать.

— Ой, Ирина, Ирина! — сварился пальцем старый антрепренер и, звучно чмокнувши ей в руку, заколыхался прочь.

— Ну... товарищ Орловец... — усмехнулась Завадская. — Еще раз здравствуйте...

— Так вы не гневаетесь на меня? — вскрикнул Иван Семенович и попросил потише: — Не надо... Я же не хотел вас оскорбить... да и не дурень я, нет...

— Я знаю, — успокоила его женщина, пояснивши погоду: — Я расспросила о вас у Мюфке...

Прошли немного молча, тогда сказала она:

— Вы проводите меня домой... Я недалеко живу, на Немецкой. А по дороге и расскажете мне о нашем давнишнем знакомстве... Где это было? Когда? И про ноги... — сверкнула она на него насмешливым взглядом.

И засмеялась тихо.

— Да, я расскажу, — продолжил Иван Семенович, почувяв, как мелкий холодок побежал по спине от того смеха. — А про ноги... Это я не сумел высказаться... Вот...

И торопясь, задумчиво, вроде самому себе, говорил ей о юности своей, о Таланском заводе и — уже волнуясь немножко — про тот день, как катал ее на качелях, в синее небо вознося.

Слушала молча, иногда искоса на него поглядывала, а когда закончил, уронила задумчиво:

— Вот видите — какие мы... знакомые. Давно знакомые.

И не спрашивала больше.

Около маленького двухэтажного дома остановившись, попрощалась:

— Тут я живу, — сказала. — На втором этаже, квартира четыре... Это я говорю, — добавила, — чтобы вы пришли ко мне когда-нибудь... Поговорим еще... Ладно?

— Приду, — кивнул головой Иван Семенович и долго — когда тяжелые входные двери за ней скрипнули — стоял, не понимая совсем, как могло случиться, что припал он сухими губами к пахучей перчатке на узенькой теплой руке...

IV

Докладывая, Писаренко почему-то гнусавил, раз за разом повышая голос в начале фразы и заканчивая ее почти шепотом; казалось, клонит его в сон — положит, шепча, голову свою на кафедру и уже не выкрикнет больше, и тогда не нужно будет Ивану Семеновичу испуганно таращить глаза, а можно, откинувшись к стене, сидеть себе спокойно, прислушиваясь, как грохочут иногда трамваи за окнами, а главное, совсем не думать... Ведь он и пришел сюда, убегая от думок, нескончаемых и неясных, что уже сколько дней не волнуют и не раздражают, а как-то обессиливают его, поливая голову тяжелой усталостью... Скорее всего, не усталостью, нет... какой-то чудной тишью, когда так выразительно слышно, как бьется жилка на виске...

«Так вот, товарищи... — вдруг громче, чем обычно, фальцетом выкрикнул Писаренко, вроде обрадовавшись, что нашел давно нужную ему фразу, и, вспугнув мысли Ивана Семеновича... — Так вот, товарищи», — снова, еще громче и тоньше выкрикнул он и сразу перешел на гнусавый шепот, вроде что-то таинственное доверяя, да все ниже к кафедре склоняясь...

«Чего это он... так? — удивленно глянул на докладчика Иван Семенович и еще больше поразился, когда не смог припомнить, всегда ли так докладывал Писаренко или недавно начал...

Как же это так? Писаренко изо всех товарищей наиблизжайший ему друг, можно сказать... Как же не знать Ивану Семеновичу его манеры... привычки его?..

И, уже волнуясь, начал вспоминать, что в действительности знает он о Писаренко: фамилию, имя, отчество... где работал, где работает... Анкета! Анкета... И это все? Так мало, так страшно мало? Почти ничего... Ну, конечно, ничего! Ведь что же знает он о Писаренко... ну, как про человека вообще, что ли... Как он живет, что он любит, что думает... не о текущих делах, нет, так, вообще...

И еще не отдав себе отчет, что именно, а, уже догадываясь, что постигнул он теперь что-то новое, с последствиями для него незримыми, от чего еще сложнее и утомленной потекут его думки, Иван Семенович посмотрел вокруг, на знакомые фигуры товарищей, задумчиво склонившихся над записями-заметками...

Что он знает о каждом из них? Нет, не так: знает ли он хоть одного из них так, чтобы мог сказать ему все, чтобы тот мог войти в его положение — пусть даст совет и выручит?

Иван Семенович поднялся и, избегая изумленных взглядов, вышел в коридор.

«Нужно непременно что-то с ними сделать, — подумал он о башмаках. — Скрипят...»

И, сворачивая сигарку, припомнил, как неловко чувствовал себя из-за скрипа в опере... А потом вспомнил почему-то свою невежливую размолвку там со Звирятиным, и снова потянулись думки, смутные да бесконечные, и чаще забились на виске жилка...

Иван Семенович зажег сигарку и припал горячим лбом к морозом разрисованной окошечной шибке. Вместе с холодом потекло в душу какое-то дивное, спокойное безразличие: пусть хоть что, а не отойдет от этого синего окна, будет стоять, пока вспомнит, когда это было: именно такая же усталость и лоб у стекла... Вчера? Нет. Позавчера?

В зале зазвучали голоса, громыхая стульями, в коридор начали выходить курьльщики, живо обсуждая доклад Писаренко. Сам он, устало отвечая на вопросы, отыскал глазами Ивана Семеновича и подошел к нему.

— Ты что, ждешь кого? — спросил он, встав рядом, возле окна.

— Нет, — задумчиво ответил Иван Семенович, припомнив, что так, лбом к стеклу, рядом с Писаренко, стоял он давно, на допросе в деникинской контрразведке, в Полтаве...

— Или, может, тебе доклад мой интересен? Ты же всем начинаешь теперь интересоваться, даже певичками... — попробовал подшутить Писаренко, сам сразу опешив, когда увидел, как побледнел и растерялся Иван Семенович.

— Нет... — ответил тот тихо и попытался уйти.

— Да ты стой! Не сердись! — схватил его за рукав Писаренко. — Я тебе вот что сказать хочу. Вот что... Как бы тебе сказать... Последнее время ты какой-то чудной... Переутомленный, может? Или, может, мысли какие?.. Как ты ни кройся — я тебе друг, не забывай про то. Понимаешь — друг.

— Понимаю, — вяло, о своем что-то думая, ответил Иван Семенович и замолчал, не отрывая взгляда от окна. За тонкой пленкой стекла короткие зимние сумерки синили безлюдную, густо заснеженную улицу. Видно, что примораживало: одинокие прохожие горбились, кутаясь в поднятые воротники, глубоко прятали в карманы руки; звонки трамваев остро рассекали воздух.

— Та-ак... — протянул после паузы Писаренко почему-то тихо: — Так ты заходи когда-нибудь, жду.

И снова, немного помолчав возле Ивана Семеновича, ушел в замешательстве.

Иван Семенович, не спеша, спустился по ступенькам вниз в раздевалку, надел бекеши и, не застегиваясь, вышел на крыльцо. Холод и тишина широкой вечерней улицы взбодрили его. Мерно ступая, он почувствовал, как мыслям его возвращается ясность и выразительная законченность.

Нужно выкинуть прочь все из головы и месяца два отдохнуть, подлечить нервы. А главное — взять себя крепко в шоры, — это ключ ко всему. И уже посмеиваясь, припоминая всю ту путаницу мыслей, что роилась вокруг все эти дни, и все те мелочи, что не давали ему покоя.

— Сколько на Немецкую? — неожиданно остановился он у извозчика, себе удивившись, что такой у него глубокий да ласковый голос.

— Сговоримся, — хмуро пробубнил извозчик, накрывая войлочной кошмой ноги Ивану Семеновичу. — Но, ты! Задумалась! — прикрикнул он на свою конячку. — Нервная какая...

Иван Семенович откинулся на спинку саней и с интересом удивлялся, как проплывали мимо высокие серые стены домов.

— Стой! — сорвался его голос, как показался за развилкой беленький двухэтажный домик с колоннами. — Да стой же, говорят тебе! — еще раз нетерпеливо приказал он и почувствовал, как отяжелели его ноги. Расплатился и потихоньку побрел к беленькому домику. Окна наверху светились — значит, дома. «А может, нет-таки? — утешил он себя, когда уже зазвонил у широкой двери с табличкой «Правозащитник Шпара». И сразу, услышав, как внутри задрезбезжал звонок, шагнул к лестнице нерешительно, будто собираясь удрать, как открылась дверь, и на пороге появилась высокая в черном девушка. «Горничная», — успокоенно подумал Иван Семенович.

— Мне к Завадской, — хрипло промолвил он, отворачиваясь от удивленной девушки.

— Вы к Ирине Эдуардовне Завадской? — поправила она и как-то неохотно пропустила гостя в переднюю.

— Да, я к товарищу Завадской, — рассердился Иван Семенович, неприятно пораженный, увидев себя при ярком свете. Давно пора бы купить новое пальто; уже никто не носит таких бекеш, крытых солдатским сукном. Да и вообще нужно следить за собой... Глянь, щетина на лице...

— Вы, может, сможете, скинули бы пальто? — смехом зазвенел голос горничной, и она помогла Ивану Семеновичу повесить его бекешу поверх богатых меховых пальто.

— Прошу, — слегка поклонилась она и повела его широким коридором к двери, за которой слышались приглушенные голоса и веселый женский смех.

«Вот расходились», — чуть не вслух со злостью подумал Иван Семенович, на миг зажмурившись в потоке света, который ринул ему навстречу из раскрытых дверей.

Он ступил несколько шагов и остановился, неприятно пораженный знакомыми голосами и лицами. Против двери, утонув в глубоко удобном кресле, светил безукоризненным пробором прически Звирятин; он что-то рассказывал вполголоса, наклонившись к своей соседке, пышной блондинке с горячими, как кровь, губами, но, услышав шаги, замолк и, не скрывая удивления, впился глазами в Ивана Семеновича. Почему-то перекладывая из руки в руку старую свою, сзади облезлую шапку, Иван Семенович окинул взглядом темные, будто бархатные обои, на стене картину, где над зелеными волнами моря таяли легкие белые облака; споткнулся на миг о три знакомые личности в углу и сразу отвел глаза на сложный и спокойный рисунок ковра.

— К вам гость, Ирина Эдуардовна! — пропел насмешливый баритон Звирятин, а Иван Семенович услышал быстрые дробные шаги и тяжелый шорох шелка.

«Так это же она?» — окинул он глазами статную смуглую женщину, что, ласково улыбаясь, приближалась к нему. Виделась она ему совсем иной, чем представлял, а лучше ли — не знал; все же не походила она на ту, что в театре, и не на ту, что когда-то запомнилась на качелях, — сливались в ней обе.

— Здравствуйте, товарищ... — начала она и замешкалась.

— Товарищ Орловец, — подсказал ей Звирятин. — Представляю обществу, — повысил он голос. — Товарищ Орловец, мой и Владимира Петровича принципиал. Слышите, Владимир Петрович, — кинул он куда-то в угол, — начальство пришло.

Иван Семенович кивнул и сел возле двери.

— Так вы на том самом заводе?.. — удивленно заметила Завадская. — Отчего же вы об этом ничего не сказали, Владимир Петрович?

— А что же тут интересного? — послышался равнодушный голос из угла.

Там, протянув к тлеющей камину длинные тонкие ноги, сидел в тени какой-то широкопалый пальмы инженер Сквирский. Около него на небольшом столике стоял графин с водкой и чарка. Время от времени он подносил чарку ко рту и помалу цедил горилку сквозь губы; потом пристально всматривался в свои длинные с острыми ногтями пальцы. Услышав фамилию Ивана Семеновича, он, не торопясь, подошел к нему, молча пожал ему руку и молча, размашисто ступая, вернулся на свое место. Больше ни с кем, даже с самой Завадской, Иван Семенович не поручкался. Пышная блондинка приветила его томно глазами, сразу же спрятав их за стеклышком лорнета; три человека с той стороны камина пробормотали что-то непонятное, не обрывая дальше своей живой беседы вполголоса.

— Это все мои хорошие знакомые, товарищи, — тихо промолвила Завадская, указывая глазами на группу беседующих. — Тот толстый дед — ведущий когда-то антрепренер Скорик. Теперь он, конечно... так себе... я даже не знаю, с чего и как он живет... Но он очень интересный: целый театральный архив. А тот, рядом, это Иероним Трехсвятский, музыкальный критик и теоретик... А горбун — ведущий композитор Муриков, очень талантливый... Очень! Почти европейская величина... Но он какой-то такой...

— Я их знаю, — проговорил Иван Семенович, вспомнив ту беседу в опере, и покрылся румянцем, представив себе весь тот вечер. Интересно, что думает о нем эта совсем неведомая ему женщина, которой он слова не выговорит? К чему сидит

она возле него в этой уютной богатой комнате, среди своих друзей и что-то говорит ему, вместо того, чтобы выгнать его прочь, чужого и ненужного?

Завадская стала расспрашивать его об опере, понравилась ли она ему, часто ли бывает на спектаклях, да, глянув на собеседника, растерялась и умолкла: он сидел, низко склонив голову, и, видимо, совсем ее не слышал. Усталость и боль выступали на его лице.

— Вы не сердитесь на меня, — промолвил он наконец виноватым голосом. — Я не знал, что у вас такое общество...

И, взяв с близкого столика какой-то альбом, он начал машинально его перелистывать.

— Это мой, театральный, — сказала хозяйка и, отойдя к Сквирскому, взволнованно склонилась над столиком.

— Что же вы все замолчали? — заворковала блондинка, обеспокоенная тем, что не только общая беседа не вяжется, но и Звирятин не склоняется больше к ней. — Муриу, Сквирский! Кончайте свой диспут! Это так интересно, — сощурилась она, глядя на Ивана Семеновича.

— Да-а... темочка неплохая... — проворковал Звирятин, — надстроечная, Иван Семенович, про любовь! — поднял он палец.

— И о страсти, — прикинул деревянным голосом Сквирский, сурово глядя на Завадскую.

— Ну и про страсть, как... основание, фундамент любви, — продолжил Звирятин.

— А я так и не разобралась, какая между ними разница? — посетовала блондинка и скромно опустила взгляд за глубокий вырез своего платья.

— Что для простых смертных — страсть, то для малокровных — любовь, — перевел дух антрепренер, вместе с другими выбираясь из своего угла.

— Да и вправду, общество, кончаем нашу размолвку! — обрадовалась хозяйка. — К слову, имеем еще одного оппонента. Наверное, товарищ Орловец как материалист...

— Ну, что касасемо любви, голубка моя, то я тоже правоверный материалист, — зашелся в смех антрепренер. — По-моему, тут и спорить не о чем: все ясно, как в политграмоте. А что до того, где страсть, а где любовь, так об этом пусть инженер Сквирский на досуге подумает...

— Ждите! — остановил его Звирятин и обернулся к Ивану Семеновичу. — Товарищ Муриу, — наклонил он голову в сторону горбуна, — выдвинул наиважнейшее интересное утверждение... Он, исходя из того, что страсть, простое проявление элементарного полового влечения, очень часто возникает меж особами разных социальных классов, делает вывод о...

— О неклассовости любви! — брызнул слюной маленький горбун, соскочив со своего креслица. — Да-да, товарищ Сквирский — любовь! Наидеальнейшая или наигрубейшая — одинаково! Для меня это аксиома! Это истина! — тараторил он, встав посреди комнаты, размахивая руками так, вроде греб против течения веслами. — Разве не видим мы тысячи примеров вокруг? Да я и сам могу назвать десятки случаев, когда влюбляются люди из разных, даже враждебных классов! Да пустое — примеры! Не в них главное! К этому выводу я пришел... ну, философски, что ли...

— Ша! Философ! — поймал его за руку антрепренер. — Ей-богу, милиция может прибежать!

— А ну вас! — вырвался горбун и мелкими шажками убежал к окну. — Никогда не даст высказаться, — торкнул он плечом в бок Скорика.

— Зачем же так волноваться, почтеннейший? — проворковал Звирятин. — Вопрос этого не заслуживает...

— Товарищ Музив, — снова обратился он к Ивану Семеновичу, — рассматривает любовь как... ну как сублимированное половое влечение, что ли... доказывает многочисленными примерами и часто философскими размышлениями, что любовь может быть между людьми даже враждебных классов.

— Но что же понимать под любовью? — выпрямился на своих длинных ногах Сквирский. — Если любовь... — хотел продолжить он, да заметив, как метнулся от окна Музив, махнул рукой и, подойдя к столику, налил себе рюмку.

— Да хоть как вы ее понимаете — одинаково! — пискнул Музив. — Ну, как ему еще объяснить? — развел он бессильно руками и сразу подскочив к Ивану Семеновичу, зашептал: — Ну, а вы что скажете об этом? Вы! Как, по-вашему, а? Ведь может работник, ну, пролетарий вообще, почувствовать страсть к буржуйке? Ну, просто желать ее, как женщину? Может! Конечно, может. Тысячи примеров есть! Сотни тысяч! А раз так, то почему же эта страсть не может вырасти в любовь? Это же — корень! Корень, конечно! Ну, вот вы скажите, может пролетарий полюбить буржуйку? Всерьез, как в песнях поют... А? Ну вот вы скажите! Вы! Вы! — тыкал он пальцем в Ивана Семеновича.

— Я? — тяжело поднялся тот, как-то сверху глядя на маленького композитора. — Я? — повторил он, небыстро оглядывая всех.

— Да вы же, вы, — насмешливо ответил Звирятин. — Кому же, как не вам, теперь все разъяснять. Под вами ходим!

Иван Семенович нахмурился. Этот жирный, хорошо откормленный спец, с манерами ленивого помещика, злил его. Он прикусил губу и сделал шаг к Звирятину.

— Мы все ждем вашего ласкового ответа, — говорил Звирятин. — Чтобы было яснее, скажите, могли бы вы, Иван Семенович Орловец, чистой воды пролетарий, влюбиться, — сделал он небольшую паузу, — в Ирину Эдуардовну Завадскую, в буржуйку и дочь буржуя?

— Ах, так? — пошатнулся назад Иван Семенович. — Так вот вы как... — хрипло продолжил он, почуяв, как холод залил ему грудь. И, заглушая в себе смех, который уже щекотал ему горло, наклонился к Звирятину: — Шутите, добрейший? Хе! Вы же по себе знаете, что чувствует пролетарий к буржую — то, что и буржуй к нему! Они или ненавидят один другого, или же... оскорбляют, — кинул он и, круто повернувшись, ушел из комнаты.

Казалось, не идет коридором, а падает в какую-то узкую серую бездну, и уже не чувствовал зла, а только жалость к самому себе, досаду. Наспех надел бекешу, не попадая в рукава, и враз застыл, шорох шелка услышав.

— Простите меня, — кинулся он к Завадской, когда она встала на пороге. — Простите, — прижал он бекешу к груди.

— Какой вы дикий, — смотрела она куда-то мимо него, — ах, какой дикий! И посторонилась, пропуская на выход Сквирского.

— Подождите, — сказал тот Ивану Семеновичу, — нам по пути.

Пошатываясь, надел пальто и припал к руке Завадской.

— Заходите, — сказала та Ивану Семеновичу, целуя инженера в голову.

Иван Семенович молча поклонился и открыл дверь на лестницу.

Когда вышли на улицу, инженер еще раз сказал: «Нам по пути» — и замолчал, ступая широко и равномерно.

«Деревянный какой-то», — подумал Иван Семенович, стараясь не отставать, и задумался, безразлично припоминая все, что случилось с ним за эти последние, важные для него дни. Обрывки дум, чужих и своих, плыли в памяти; перед глазами возникали фигуры людей, раньше никогда не знакомых, что теперь вошли почему-то в его дни.

— Ну, как вам все это? — просто, по-товарищески, спросил Сквирский, когда прошли они так два квартала, и взял Ивана Семеновича под руку.

— Как странна жизнь, — подытожил тот свои мысли, глядя в серое зимнее небо.

— А больше — злая.

— Будет лучше.

— Лучше? — зевнул инженер. — Вы верите, что если сравнять людям пайки, то жизнь у них улучшается? Полегчает — согласен. А улучшает ли... не знаю.

И, прислонившись к Ивану Семеновичу, говорил горячо:

— Друзе мой, для этого нужно уметь жить; понимаете — уметь. Надо учиться жить! О, наука жизнь! Какая это сложная, прекрасная и, жаль, неведомая наука! Люди принимали к сердцу зори, победили все стихии, научились строить небоскребы и убивать один другого, но жить... жить они не умеют! Не умеют! — уверял он Ивана Семеновича, дохнув на него водочным перегаром. И, остановившись на перекрестке, широко повел рукой. — Вот пусть упадут стены всех этих домов, и откроется нам все, что творится за ними, — вешайте меня, если увидим мы у кого-то и вправду хорошую жизнь! Ну, вот припомните всех, кого знаете, — много есть таких, кто мог бы сказать о себе: «У меня прекрасная жизнь!» Никого, друзе, никого! А если есть один-другой, так не по их воле, не их старанием сложилась жизнь. Случай! Только случай! — крикнул он торжественно и отчаянно. — Никто, абсолютно никто из нас не строит свою жизнь сам, — мы берем первое — лучшее, что само дается в руки... Люди умеют строить свое жилье, но строить свою жизнь... Хе! Они хотят существовать. Я — инженер; я строю вам наисложнейшую машину, я подбираю каждый винтик, чтобы работала она ровно и хорошо, но дни мои плывут на меня, будто в разлив, я барахтаюсь в них, хватая то, что поближе. <...>

<V...>

VI

<...> Иван Семенович подошел к окну и, глядя, как тают в сером небе заводские дымы, думал вяло о том, что наступают какие-то сложные перемены в его жизни, входят в его дни новые, до сих пор незнакомые люди, охватывают новые мысли, а он бессилён остановить их, да и не знает, желал ли останавливать.

— Войдите! — будто проснулся Иван Семенович, когда в дверь постучали, с приятной улыбкой встретил Куницу.

— Вот хорошо, что ты один! — отозвался тот, падая в кресло напротив стола. — Ведь я, Ванька, с делом приватным... Можно сказать, с дипломатической миссией... Подожди, мать честна, — ответил он на удивленный взгляд товарища. — Дай, отдохну... Спешил очень, боялся, что ты уедешь в управление... Да...

Он вытер рукавом вспотевший лоб и беспокойно зашевелился в кресле.

— Дело-то, Ванька, деликатное... Ну, а ты же знаешь, какой из меня дипломат... Так ты того, не сердись... Да-а... Тут не только я, а все, вот Писаренко первый... Все мы, Ванечка, тревожимся о тебе... Старые товарищи, знаешь... А много ли нас таких? А?

И, почувствовав, что путается, рассердился и давай бегать по кабинету.

— К черту с вашей дипломатией! — крикнул он кому-то в угол за шкафом на книжки. — К трем чертям! Что он, малый ребенок, что я должен с ним сюсюкаться? Хе! — остановился он наконец перед сбитым с толку Иваном Семеновичем. — Хватит дурня строить! Понял? Где это видано: переутомленный, еле на ногах держишься — и молчишь? Чужие замечать стали, а ты друзьям своим хоть бы словечко? Хватит, Ванька, хватит! Сегодня же к врачу! Понял? Сегодня же. Сейчас. Немедленно. Фу-у, — снова сел он в кресло. — Теперь можно и спокойнее. Дай только закурю.

Иван Семенович видел, как дрожат его руки, когда зажигал спичку, как ходят на щеках желваки, и почувствовал, как дорог и вправду близок ему этот смешной нескладень, что так беспокоится о нем. Старый товарищ, он, значит, заметил, что с Иваном Семеновичем не все ладно... Но что же, действительно? — неприятно скривился Иван Семенович. — Правда, что случилось с ним, что уже и другие обращают на него внимание?.. Ну, возможно, стал он нервней, чем был раньше, переутомился немного... Так это же естественно: сколько лет, как та машина, день в день... Да и кому какое до этого дело? Ведь он, Иван Семенович, не трогает никого из них, так чего же лезут все они к нему со своими заботами, советами, наставлениями...

— Черт знает что! — ругнулся он в голос и неприязненно поглядел на Куницу. — Что это за комедия, наконец! — выверился он на того. — Выскочил, как Пилип из конопли! «Хворый!» «Друзья!» «Лекарь!» Ты еще б истерику закатил!

— Ванька! — пораженно протянул Куница и захлебнулся табачным дымом. — Ва-анька! — прохрипел он, зайдясь горьким кашлем. — Ну вот, — развел руками, — вот тебе и деликатное дело! Но ты не сердись, ты выслушай меня, Ванька... А что Пилип из конопли, то правда! Ну, что ж, не умею! Мне и Писаренко наказывал: «Ты же смотри, — говорит, — деликатненько все, с подготовкой». Когда же не умею...

Он замолчал и кротко приклонился к Ивану Семеновичу. Тот смотрел куда-то сквозь окно и, казалось, не слышал Куницу, может, даже забыл о нем.

— Эх, Ванька, друг ты мой и товарищ... — вздохнул тот и придвинулся еще ближе. — Ты не сердись, ты выслушай меня, идиота... А что волнуюсь я и тебя взволновал, так люблю же я тебя, Ванька... И болею за тебя... Да... А дело, браток, совсем, можно сказать, глупое... Ей-богу...

— А именно? — холодно спросил Иван Семенович.

— А вот я его и выложу тебе своими словами. Да-а... Дело в том, Ванька, что последнее время ты чем дальше, то все горше выглядишь... Ты, может, этого и не замечаешь, а со стороны ведь виднее. Особенно нам, твоим друзьям, что любят тебя и волнуются за тебя... А не побеспокойся о тебе, так ты сам и пальцем не шелохнешься о себе... Мы тебя знаем! Как ты предан работе... Камень, можно сказать. Но человек же не машина, да и та, сам знаешь, ремонта требует...

— Да ты проще. По-вашему, я большой, получается?

— Не хворый, Ванька, нет, а переутомленный. Где уж, с семнадцатого года и не присел, можно сказать. Революция, войны, теперь сколько лет, как та муха в укрепе, крутишься... Никаких сил не хватит! Вот и надо, чтобы ты поберег себя, понимаешь? Чтобы отдохнул то есть... А, Ванька? Как ты думаешь? Кинуть все на какое-то время: завод, нас, все... Поехать в село, например... А? Или на море... Волны там всякие, ветры... А ты себе на песочке греешься...

— К морю? — тихо переспросил Иван Семенович и сразу почувствовал, как несет его куда-то далеко отсюда, из этой комнаты, от Куницы, знакомых, от размеренных дней, от людей... — К морю? — прошептал он. — Да, к морю я поехал бы...

— Вот видишь! — вскрикнул Куница. — А ты сердился на меня! Эх, ты... Ванька! — хлопнул он его по плечу. — Ну а теперь конкретно. Отодвигать дело не к чему, нужно все это быстрее. Пойдем мы с тобой к врачу, спросим, куда, что, как — и айда. Мы, брат, уже и с врачом договорились, с самым наизнающим профессором! Да! Он сегодня и ждет тебя. Вечером, часу в восьмом... Хорошо?

— Хорошо, — кисло усмехнулся Иван Семенович...

Прием у профессора заканчивался.

В просторном, скупо мебелированном покое дожидались очереди лишь трое пациентов, когда появились здесь Куница с Иваном Семеновичем.

— Как раз вовремя, — нарушил тишину Куница и, проскрипев через весь зал пересохшим паркетом, сел около неперменного украшения всякой лечебной гостиной — у большого стеклянного аквариума.

Скрип паркета напомнил Ивану Семеновичу, что он до сих пор ничего не сделал, чтобы починить свою обувь; это поразило его и забеспокоило. «Странно, — подумал он, широко, будто журавль, ступая за Куницей, — странно, что раньше я никогда не обращал внимания на такие мелочи...» И сразу же припомнил, что начал замечать это с того вечера, когда увидел Завадскую...

«А все нервы», — отметил и обрадовался он тому, что вот уже сколько дней успокаивается всякий раз, как докатываются его мысли к дразнящей увертюре «Кармен»...

Заслышав шаги, пациенты оставили разговоры и внимательно оглядели ново-прибывших. Вроде как убедившись, что люди надежные и им доверять можно, седой с длинной бородой дед в старом сюртуке военного покроя прикостылял к Ивану Семеновичу и, подмигнув, спросил:

— К профессору?

— Да... — сбился с толку Иван Семенович, не сразу догадавшись, что это нервный тик дергает у старого запалые щеки.

— А дозвоьте узнать — впервые или уже и раньше бывали?

— Нет, впервые.

— Говорят, чудеса творит, — прикинула сухощавая пани в старомодной шляпке с черной вуалью.

— Если бы так, — игриво подмигнул старый. — Ведь, дозвоьте вам доложить, в бромь да в обтирания я не верю-с. В наше время, когда каждому столько доводится пережить — водичкою-с нервы не вылечишь... Тут нужно иное лечение... Иное! — постучал он костылем о пол.

— Ведь теперь не только я, вы, пятый... двадцатый болен, теперь вся жизнь больна! Да-с. Мы мы нервные — жизнь-с нервная... Ее и лечить надо.

— Ну, это вы лишнее, — выступил Куница из-за аквариума. — Глянь, куда загнули... Душок от вас...

— Какой душок-с? — покраснел старый.

— А такой... Старорежимный... Ишь, жизнь ему теперешняя не нравится!.. Лечить ее нужно...

— А, по-вашему, нет? — запрыгал дед на костыле. — По-вашему, жизнь теперь нормальная-с? Да вы не наступайте на меня, не наступайте! Я не боюсь. Ведь я не о политике-с, не об экономике-с... Я об обычной жизни, о личной жизни, об обывательской... Да-с... А она не только ненормальная — она ужасная! Ужасная! Вы посмотрите вокруг... Во всех этих так называемых семьях... Ужас, ужас-с, дозвоьте заверить вас... Все шиворот-навыворот, все вверх тормашками... Никто не знает, чего он хочет, никто не считается с иным мнением... Сходятся, разводятся... грызутся... Наскакивают один на другого, рвут один с другого... Каждый хочет заграбастать все, но вправду никто и ничего не хочет... Люди не уважают себя, не ценят своей жизни... Тьфу... тьфу... тьфу... — застучал он костылем к профессорскому кабинету и пропал за широкой дверью.

— Ну, знаешь, — успокоясь, зевнул Куница, — с такими и сам захвораешь... И все на жизнь жалуются. Оно и неудивительно: из общества их вытолкнуло, вот и киснут...

Иван Семенович не ответил. Он вступил в аквариум и рассеянно следил, как плавали в мутной рыжей воде маленькие красные рыбки. Они то останавливались недвижимо над самым дном своей стеклянной тюрьмы, широко — вроде давило их что-то — раскрывая свои роточки, то, лениво шевеля хвостиками, плыли вдоль стенок, глядя перед собой равнодушными, невидящими глазками.

«Вот так и мы», — хотел сказать Иван Семенович и весь похолодел от этой коротенькой мысли.

— От врача мы зайдем к Писаренко, — безапелляционно, даже и не допуская, что может Иван Семенович воспротивиться, сказал Куница. И только погодя добавил: — Друг он тебе, Ванька... Можно сказать, как брат... Он же и об отпуске тебе хлопочет...

Иван Семенович хотел было решительно отказаться заходить к Писаренко, но, вспомнив об отпуске, промолчал... Глядя сквозь стекло в невыразительные круглые глаза облезлой рыбки, представил себя на берегу, у самых ленивых волн... И вроде отхлынуло море, а на берегу оказалась золотая рыбка. И спрашивает она: «А чего ты, товарищ Орловец, от жизни хочешь? Говори — все по-твоему будет...» Да Иван Семенович сам не знает... А если не знает, то как же может он сам, заведомо, строить свою жизнь? Вот же, и остается ему брать то, что само дается... Да разве только он такой... Все одинаковы... Вот хоть и Куница этот... Даром, что прыскает на всех, колупни его — такой, как и другие...

— Ваша очередь, — посмотрела горничная на бумажку-талончик у Ивана Семеновича и открыла перед ним двери профессорского кабинета.

Потому, что представлял Иван Семенович профессора старым-старым, с пухлой ласковой бородой, дедом, а навстречу ему поднялся из-за стола сухощавый, будто циркуль, выбритый и молодой — сразу почувствовал к нему какую-то даже враждебность и, не поклонившись, сел бочком подалше от стола.

Все же голосом приятным, ровным, как густой осенний дождь, сказал профессор, что он непременно ждал сегодня Ивана Семеновича, что с ним договаривался о том товарищ Писаренко, что нельзя так запускать свои нервы, ибо нервы — это все; и чем дальше низал спокойные и такие обычные слова, тем ближе становился он Ивану Семеновичу. И когда начал расспрашивать его обо всем и дотошно, над каждой мелочью останавливаясь, то отвечал ему охотно и искренне. Потом стоял голый среди комнаты, а профессор трогал его нежными и теплыми пальцами, водил по коже то чем-то острым, то чем-то холодным — и удивлялся, вздрагивая и трепеща, отчего и вправду раньше не начал он лечиться...

— Ну-с, — сказал профессор, закончив осмотр и снова садясь за стол, — страшного у вас, конечно, ничего нет. Переутомление и неврастения... Но все же обратиться на себя внимание нужно... Надо и подлечиться немного, и отдохнуть хорошо... Попутешествовать... В общем, изменить жизнь...

— А вы считаете, что человек может изменить жизнь? — выступил в зеленый свет лампы наполовину одетый Иван Семенович.

— По крайней мере, на какое-то время, — не понял его профессор и начал дотошно объяснять ему, как должен он жить и вести себя дальше. В конце концов, дал ему кипу рецептов, свидетельство о том, что Ивану Семеновичу нужен срочный отдых, и сам провел его к двери.

Уже на лестнице спросил Куница, что сказал врач Ивану Семеновичу, и когда отрубил тот коротко: «Неврастения», молчал с квартал, а далее начал к чему-то доказывать, что он, Куница, так и думал, но пусть же Иван Семенович не тревожится: все это не так страшно и сложно, как кажется... Наконец, тысячи людей теперь болеют этой самой неврастенией — и ничего. Да и болезнь ли это, он, ей-богу, не уверен... Просто переутомился человек, да и все. Ну, конечно, нервы тог-

да много чувствительней... Вот и Ванек, глянь, какой нервный в последнее время стал...

Иван Семенович слушал его невнимательно. Осознавал то, что не сумеет он пояснить, что именно волнует и беспокоит его. И это выливалось в какое-то гнетущее равнодушие... Ему было все равно, что думает о нем Куница, что будут думать и все другие, как и то, идти ли к Писаренко, не идти...

Тот встретил их усталый и озабоченный.

— Садитесь, садитесь, — толкнул он гостей на диван. — И простите — должен закончить статью... Я быстро, минут за десять, — бросил уже из-за стола, заваленного горюю книжек и бумаг; скрипел быстренько пером, крепко стиснув зубы и всматриваясь куда-то в стену невидящим, как у тех рыбок в аквариуме, глазами.

Иван Семенович какое-то время смотрел внимательно на низкий лоб, пораженный спокойным упорством, оно замечалось там в каждой морщине, потом окинул глазом комнату и почему-то подумал, что вряд ли придут в голову какие-то содержательные, хорошие мысли в этой обстановке.

Маленькая комнатка, половину которой занимал большущий письменный стол, одиноким окном своим смотрелась в слепую стену соседнего каменного дома; из-за этого даже вечером, при электрическом освещении, казалось, что не выветривается здесь воздух — густой и горький, какой даже во рту оставляет привкус чего-то горьковатого и горелого. А может, это горчил синий табачный дым, сквозь какой едва виднелась под стенкой напротив небрежно запроваленная кровать, видимо, такая же неудобная, как этот старый, с лопнувшими пружинами диван, где сидел Иван Семенович. Комната поражала тем, что ее давно не убирали: что-то серое, смесь тени и пыли, лежало на всех вещах и мебели, расплывалось по стенам. Небольшой, в углу, шкаф не вмещал книжки, и они валялись всюду, даже под кроватью, уступая место только для беспорядочно раскиданных частей неприхотливого человеческого туалета...

«Как же может он научить других хорошей и интересной жизни, — подумал Иван Семенович, — если сам довольствуется такой? А он же не только учит, он строит ее для других...»

— Ну, как ты, Иван? — закончив писать, выпрямился Писаренко. — Что сказал врач?

— Неврастения. Сказал — обязательно оставить на время работу.

— Ну, пойдешь в отпуск. У тебя есть кому тебя на время заменить?

— Звирятин, инженер.

— Да хоть бы и не было кому, — встрял Куница, — лечиться ведь надо. Нервы — это такая сволочь, что распусти их, так потом не соберешь...

— Так, так, — зевнул Писаренко. — Ты, Иван, с этим не шути... Возьмись лечиться, выполняй все, что врач наказывал.

— Советует изменить жизнь...

— И он туда же! — будто утка крыльями, махнул Куница руками и закричал деланным смехом: — Чудеса — куда ни ступит Иван, всюду о жизни разговоры... О личной, — с кислой гримасой пояснил он Писаренко. — Не дает она покоя Ваньке...

— Какая жизнь? — не уразумел Писаренко и с головы до ног смерил Ивана Семеновича внимательным взглядом.

— Личная, — весело подмигнул Куница.

— Да, личная, — сердито подтвердил Иван Семенович. Веселость Куницы и колючий взгляд Писаренко начинали раздражать его. Он оперся локтем о колени, переплел пальцы рук и, положив на них подбородок, отвечал Писаренко темным тяжелым взглядом.

— Да, личная... Но я не понимаю, что тут смешного, — сверкнул глазами на

Куницу. — Или же дивного, — на Писаренко. — Напротив, меня смешит и удивляет то, что принимают это у нас как какую-то вроде запретную тему! Личная жизнь... хе! Говорить о ней, уделять ей внимание считается неестественным...

— Да оно, конечно, не к лицу нам... — несмело начал Куница, пораженный слишком уверенным тоном Ивана Семеновича.

— Не к лицу? — прошелся тот большими шагами по комнате. — Что не к лицу? Говорить о личной жизни или жить ею? Что? — остановился он перед Куницей и не дожидаясь ответа, заволновался. — Чушь! Никто из нас не отрекался от личной жизни, да и зачем это делать? Наоборот, мне кажется, что в наших условиях, когда каждый имеет возможность развиваться свободно, личная жизнь каждого могла бы принять иные, лучшие формы, стать полнее, интереснее, содержательнее... Всякой!

— Ну... а она? — коротко и сурово спросил Писаренко.

— А она в большинстве случаев серая, убогая, однообразная... И очень часто нечистая, жалкая...

— Так... А что же именно ты называешь личной жизнью? — еще холоднее спрашивал Писаренко. Он отошел к окну и смотрел оттуда на Ивана Семеновича так, будто стоял тот где-то далеко-далеко и трудно было его распознать.

— Что ни назови — одинаково, — досадливо отмахнулся Иван Семенович. — То, что и ты... Все, что каждый из нас переживает отдельно и независимо от других... Все, что, так или иначе внешне выявляясь, составляет мой личный — никому, кроме меня, не нужный и не интересный быт... О! Быт, — обрадовался найденной формуле. — Вот к нему-то приглядываясь и вижу, какой убогой и небрежной личной жизнью живет каждый из нас... Ты вот, например, — шагнул он к Писаренко. — Да, ты! Ты ходишь около искусства, какое, может, больше всего людям жизнь украшает, около эстетики, черт тебя возьми! А какой же красоте ты можешь научить людей, коли тебе безразлично, что живешь в такой берлоге, — повел он рукой по комнате. — Когда у тебя интересные, прекрасные, может, бессмертные книжки валяются рядом с грязным бельем...

— Да это не только ты, — успокоил он Писаренко, что стоял, сложив руки на груди и закусив нижнюю губу. — Все мы одинаковы. Строим великую жизнь для всех, говорим о новом для всех быте, а неспособные построить и малую для себя, живем, будто на вокзале или на постоялом дворе... Так, только бы...

Иван Семенович помолчал с минутой и, подумав, что теперь в самый раз хорошо бы выпить ему холодного пенистого пива, подступил к Кунице:

— И все, как и ты, говорят, что нам и не к лицу об этом думать... Как не к лицу? Почему-то пускай все так и идет, так пускай и тянет каждый из нас в новую жизнь, в новый быт всю эту гадость, что на нас понарастала?

И, подмечая, что начинает говорить словами Сквирского, сам удивляясь, что так запали ему мысли этого всегда бывшего под хмельком инженера, печалился вслух о большом преступлении, о грехе — не строить свою жизнь, а беспощадно кидаться в ее безостановочный, шальной поток. А как раз это и можно сказать о каждом из них... Все они живут случайным, тем, что легче дается, часто им не нужным и враждебным... Вот хоть и в любви, например, в этом наисложнейшем и интимнейшем проявлении индивидуальной жизни, какое не меньше других факторов влияет на формы быта...

И вроде перехватило ему горло, замолчал и дышал тяжело и взволнованно. Серая тишина расплывалась по комнате. Слышно было лишь, как поскрипывают тихо башмаки Ивана Семеновича да чей-то приглушенный голос за стенкой напекает с надрывом под бреньканье гитары:

Сыграйте мне, паж-жалуйста, разлуку,
Знать, милую другую он нашел...

— Так-с, — будто проснулся Писаренко. — Поговорили...

И, глядя себе под ноги, промолвил жестко и зло:

— А ты правда-таки больной... Да только ошибся профессор: не тот в тебе недуг...

— Кончай, — опустил тяжелые, набрякшие веки Иван Семенович и, будто ныряя куда-то глубоко, устало опустился на продавленный диван рядом с Куницей.

— Обмещаниваешься, — спокойно проговорил Писаренко и, как после допроса, начал сгребать какие-то бумаги на столе.

— Ну, вот... — поймал себя за левый ус Куница, и, скосив глаза, пристально разглядывал его рыжий кончик.

<IX...>

X

Возле дома, где Завадская жила, встретился Ивану Семеновичу маленький горбун, принаряженный так элегантно, что сразу бросалось в глаза его храброе уродство.

«Где я видел его?» — хотел припомнить Иван Семенович, а тот уже улыбался ему бескровными устами, выставив из богатых мехов птичий образ свой.

— Товарищ Орловец? — брызнул он слюной и, разочарованный, а может, обидевшись немного, прописнул: — Забыли? Я — композитор Муриев...

— Нет, помню... — промямлил Иван Семенович и, поклонившись, хотел идти дальше, когда услышал:

— К Ирине Эдуардовне идете? Ее сейчас дома нет. Я от нее...

— Нет? — остановился Иван Семенович. — Как нет?

И не мог разобраться — досада или радость подняла ему дух.

— Но через полчаса она возвратится. Увидите ее — передайте мой привет, — откланялся Муриев.

«Значит, он не придет больше», — с радостью отметил про себя Иван Семенович, стараясь ступать так лихо, как и горбун.

— А я думал, сердитесь вы на меня... — крутил тот головой на тонкой, хилой шее.

— Нет... Почему же, — не понял Иван Семенович, за что мог бы он сердиться на этого горбатого человека.

— А помните нашу беседу у Ирины Эдуардовны? О любви...

Выговорил это слово так, будто застряло оно в гортани, и должен был силой его вытолкнуть; слово прозвучало, вроде оборванная струна скрипки, скручиваясь, билась о деку.

— Разволновались вы тогда очень... Не попрощались...

— Нервы, — рассеянно ответил Иван Семенович, думая о том, как сложно все в жизни человека: раз, хоть бы и случайно, запутавшись, само собой не вырвешься, путаешься далее, и нужно усилие, чтобы освободиться из этих сетей. Придет само, случайное, непрошеное и неожиданное, а ты должен отдать ему время и внимание, пережить его, приглядеться, чтобы из всей массы выбрать только нужное тебе, отринув прочь все второстепенное... «Это и есть — творить свою жизнь», — припомнил он Сквирского.

— А вы не правы тогда были, — покачал композитор головой. — Не правы. Нет. Утверждение ваше ошибочно...

И, вспомнив, что Иван Семенович, собственно, ничего не сказал тогда, пояснил, осмотрительно слова подбирая:

— Все мы поняли тогда ваш такой... чудной выпад против Звирятина и во-

общее... как своеобразное выражение вашего возмущения на мое утверждение о возможности и нормальности любви между особами целиком враждебных классов...

Он помолчал, выжидая, не возразит ли Иван Семенович, потом заговорил снова, чем дальше — все быстрее и, видимо, волнуясь:

— Да, вы были не правы, товарищ Орловец, не правы... Для меня это так очевидно, что я понимаю даже, в чем корень вашей ошибки... По-вашему, такие люди не могут любить друг друга потому, что они будут оставаться враждебны. Хорошо. Соглашаюсь. Но далее вы делаете скачок, какой я никак сделать не могу! А точнее: раз они враги, то как же могут совместно жить?

— Разумеется, — начал Иван Семенович, да не дал ему говорить горбун, задержался весь, слюной забрызгал:

— Ага! Ага! — тыкал он пальцем в Ивана Семеновича. — Вот тут и ошибка ваша! Вместо любви подставляете вы совместную жизнь, сожитительство мужчины и женщины, одной из форм какого есть семья. Однако же согласитесь, что не всегда приводит любовь к тихой семейной идиллии, напротив, чаще она кончается трагедией! Вот же, коли говорить о счастливой, — будто сплюнул он, — любви, которая вершится супружеством, я соглашаюсь: быть ее меж людьми враждебных классов не может. Но почему же замалчиваете вы любовь несчастливую, любовь-трагедию? — впился он глазами в Ивана Семеновича, и только теперь заметил тот, как хороши у композитора глаза — вроде два больших синих цветка под высоким спокойным челом.

И, будто не выдержав их горячего блеска, зажмурившись, Иван Семенович, как из темной глубины, принимал голос композитора:

— Не страсти, даже не сласти ищут сейчас люди в любви, а только удовольствия, забывая, что в самой сути своей есть она борьба... Борьба! — зазвенел ему тонко голос, — а может, ненависть...

Казалось, опустошило его это слово — сник весь и ослаб; подал на прощание Ивану Семеновичу ручку вспотелую и, слова больше не вымолвив, пошел прочь.

«Какие все они... нервные», — подумал Иван Семенович и почувствовал себя в сравнении с ними сильным и уверенным.

Открыла ему дверь та самая, в черном, горничная.

— Ирины Эдуардовны еще нет, — сказала, — но она просила вас подождать.

Иван Семенович, не торопясь, разделся и прошел в гостиную.

Горела только одна лампа под тяжелым шелковым абажуром; мягкие тени разливались по потолку и углам большой комнаты. Пристально, будто изучая, оглядел ее Иван Семенович, к каждой мелочи прикипая взглядом, потом опустился в кресло, где когда-то Звирятин сидел, и усмехнулся криво: на столике, в углу за пальмой, белым огнем поблескивал графин с водкой.

«Для Сквирского ... — подумал Иван Семенович. — Значит, часто бывает...» И вдруг припомнил к чему-то, как с ним прощаясь в тот раз, поцеловала Завадская Сквирского в голову, а тот позже, уже у себя в квартире, назвал ее при Иване Семеновиче просто Ириной.

«Творец, — ехидно прошептал Иван Семенович. — Теории разводит, а сам, наверно...»

И не закончил, услышав звонок в прихожую.

Вскочил и ступил к двери навстречу быстрым женским шагам.

— Наконец, беглец! — окутал его глубокий грудной голос Завадской разом с тонкими запахами мороза и сладостной парфюмерии. — И не стыдно так забывать старых знакомых? — пожурила она гостя, протягивая руку.

— Целуйте, целуйте! — засмеялась переливчато. — Время привыкать. На девятом-то году, как говорит Звирятин...

Приклонившись к руке ее, видел Иван Семенович, как бьются на ней нежные голубые жилки, струйками прячась в пахучих мехах рукава.

— Ну, поскучайте еще минутку без меня, — попросила хозяйка, уходя в другую комнату. — Я только пальто сниму.

Почувствовав на губах что-то сладкое и опьяняющее, Иван Семенович решил, что хорошо было бы выпить чарку водки, и уже ступил к столику, где графин стоял, как послышался из соседней комнаты шелест шелка и щелчки кнопок.

«Переодеается», — лизнул Иван Семенович губы и, почему-то дыхание затаив, сел на диван.

— Вы давно уже ждете меня? — поплыл из-за драпировки голос Завадской.

— Нет, недавно.

— Это я нарочно припозднилась, — засмеялась она. — Чтобы наказать вас за тогдашнее поведение! Ах, вы же дикарь! — высунула она из-за драпировки голову и, показалось Ивану Семеновичу, — голым плечом сверкнула. — Ну да, дикарь! При женщине, мало того — при очаровательной женщине, — игриво опустила она очи, — заявлять, что он не смог бы ее полюбить как буржуйку!

И уже из глубины комнаты крикнула:

— А, правда, товарищ Орловец, неужели вы бы не смогли полюбить — хоть бы и меня, например, — только за то, что я когдатощняя буржуйка?

— Что назвать любовью... — тяжело ответил Иван Семенович, чувствуя, что начинает его раздражать этот разговор.

— Вы как Сквирский. Тот все ищет границы страсти и любви...

— А вы не ищите?

Ответа не было.

Подавляя в себе желание сейчас же уйти отсюда, взял Иван Семенович альбом и, второй раз перелистывая его грубые листы, тщетно пытаясь опознать ту чужую, в платке цветастом девушку, что давно когда-то, там, в юности, улыбалась ему на качелях, стройные свои ноги выказывая.

«Да что же меня тянет к этой... самке?» — с мукой посмотрел он на Завадскую.

— Ну, теперь здравствуйте! — примостилась она возле него на диване. — И признайтесь, почему так долго не показывались?

— А зачем? — спросил Иван Семенович, потирая ладонями колено, будто мучила его острая боль.

— Чудной вы, Орловец, — покачала женщина головой. — То сами ищите знакомства со мной, самые мельчайшие воспоминания обо мне собирая, то... Странный, — протянула задумчиво.

Почувствовав, как веет от нее пахучее, легонькое тепло, отодвинулся немного Иван Семенович и сказал сурово и холодно:

— Мюфке передал, что вы хотели меня видеть...

— А вы не хотели видеть меня? — зазвенел насмешливо ее голос. — Ну, скажите — не хотели?

— Хотел, — вздрогнул Иван Семенович, и глубокие морщины вспахали ему лицо.

— Ну, не буду, не буду... — положила ему на рукав руку Завадская. — Я таки вправду хотела увидеться... У меня к вам просьба есть... Вы работаете вместе со Сквирским, давно его знаете, — так я хотела бы, чтобы вы все-все мне о нем рассказали... Мне это так нужно... Так нужно... — сплела она пальцы.

— Ах, так... О Сквирском... — прошептал Иван Семенович разочарованно и мертво.

— Мне некого больше спросить, — тоже шепотом посетовала Завадская. — И мы же с вами старые знакомые... Еще с качели, правда? Даже больше — мы с вами друзья... Правда же, мы — друзья? — близко приклонилась она к нему, в вырезе платья выказывая нежные линии пышной груди.

— Да, мы с вами... друзья... — повел он на нее задумчивые глаза и засмеялся горько и презрительно.

Зарделась и, дыша тяжело, вызывая кидала:

— А, знаю, знаю! Враги мы! Как же — классовые враги! — перекрикивала сердито. — А через полжизни, даже через тысячи встреч пронести воспоминание о единственной встрече со мной — это враждебность? А, узнав меня, чужую и незнакомую, тянуться ко мне — это тоже враждебность? Эх, вы, враги! И вы, и ваш Сквирский! — выкрикнула она уже с болью.

— Причем тут Сквирский? — хрипло, с трудом разнявши челюсти, бросил Иван Семенович.

— А притом!

И, вся вздрогнув, покачивая, как на качелях, бедрами, прошла по комнате.

— Говорит он, что нельзя любить, не зная человека. У, знахарь! — закинула руки за голову. — Ну, а вы...

— Я вас не люблю... — медленно ответил Иван Семенович и вдруг выкрикнул люто: — Ненавижу!

Посмотрела внимательно и насмешливо:

— Ну, а что же вас тянет ко мне?.. Может, ненависть? Классовая ненависть?

И, прищуриваясь, хищно удивилась:

— Ну, а сильнее что: эта ненависть ваша или воспоминания о моих коленях? Помните, там, на качелях?.. Как это было? Как? Говорите!

И розовыми кончиками пальцев мяла платье на бедрах, открывая стройные по-девичьи ноги.

— Так?

— Нет, выше... — стиснул руки Иван Семенович, широко раскрытыми глазами глядя куда-то мимо нее.

— Ах, выше! — задохнулась гневно.

— Да, выше! — поднялся Иван Семенович.

Смотрели друг на друга остро, и когда улыбкою озарился взгляд женский, прошептал растерянно:

— Выше...

— Так? — засмеялась звонко и рвущим взмахом открыла лезвие кружев над краями черных чулок.

— Да не надо же! — умоляюще вскрикнул Иван Семенович. — Не надо.

И, широко шагнув, упал перед ней. Горячими и тяжелыми руками обхватил ее колени, утонув лицом в пене кружев...

— Пустите! — прошептала она, склоняясь над его головой, острыми ногтями царапая ему сжатые пальцы. — Слышите, вы! Пустите! — рванулась крепче, круглым коленом зацепив ему лицо.

— Ах, вы же... — начала горько и с отвращением и — не договорила: почувствовал, как обмякла вся и выпросталась. Свел глаза и похолодел: стоял на пороге Сквирский, усмехаясь спокойно и иронично.

— Я — как раз вовремя, кажется, — просипел тот деревянным голосом и, пройдя к своему столику, налил чарку водки.

— Вы всегда вовремя, — отступила от стенки Завадская и, брезгливо разглядывая мелкие капельки крови на розовых своих блестящих ногтях, пошла из гостиной.

Иван Семенович поднялся с колен и обтирал поцарапанные пальцы.

— Натe, выпейте, — подал ему чарку Сквирский.

Тот поглядел на него бессмысленно и, рукой махнув, направился в прихожую. Дрожал мелко и чувствовал, как страшным звоном наливались жилы; потом

вдруг завихрились мысли и одна, внезапная и коротенькая, молнией расскланины: «А как же Наталка? Жена как?»

Бежал вниз, через две ступеньки перепрыгивая, и в такт шагам приговаривал: «Как же Наталка? Как же жена?» <...>

<XI...>

XII

<...> Тихо было во дворе и пустынно, так тихо, что громким показался Ивану Семеновичу скрип его башмаков, и эта досадная мелочь сначала рассердила его очень, а дальше опечалила: увидел он себя почему-то забытым — затурканным и одиноким бескрайне... Блуждает он этими темными и тихими заулками и никак дорогу не найдет, и никто не хочет помочь ему, кидают его на произвол судьбы, одинокого как перст... Конечно, одинокого. Все, даже Наталка, на чью поддержку и помощь он спокойно надеялся... Даже она. Ведь все ее поведение теперешнее: это бесконечное гнетущее молчание, эти колючие, исподтишка взгляды — разве не свидетельствуют о том, что имеет он в ее лице, скорее, врага, нежели друга... Ведь не хочет она помочь ему, сама отталкивает его туда, к другой...

Иван Семенович сжал губы и, не думая, к скрипу башмаков прислушиваясь, ускорил шаг.

Дома застал Наталку одну; сидела за чаем, над книжкой склонившись.

— Ну, здравствуй! — сел напротив Иван Семенович и сразу почувствовал — быть разговору: здоровался как-то особенно, тоном непривычным.

Наталка помалу — до точки дочитав — отодвинула книгу и кинула на него пристальный, немного удивленный взгляд.

— Здравствуй.

Приглядывались друг к другу, будто припоминая, — застила глаза обоим задумчивость, — будто узнавая друг дружку после долгой разлуки... Погодя, тронула усмешка уголки губ Наталки:

— Хочешь чаю?

— Нет, я пил, — сам не зная зачем, соврал Иван Семенович.

Наталка, усмехнулась:

— Душно тебе, что ли? Красный весь.

— Спешил очень, — опустил он глаза и, расстегнув ворот френча, дышал жадно, вроде не хватало ему в груди воздуха.

— Отдохни, — сказала спокойно, снова книжку к себе подсовывая.

Рассердился чуток Иван Семенович — нарочно она, что ли?

— Разве не видишь, Наталка? — сказал с укоризной. — Я же поговорить с тобой хочу.

— Говори, — она откинулась на спинку стула и посмотрела на него хмуро.

И только сейчас заметил Иван Семенович, что не такие у нее глаза, какими знал, — не голубые с брызгами золота, а почти черные, с холодными огоньками посредине. «А может, это из-за освещения?» — подумал он. — Не может же быть, чтобы я так не знал ее...»

Поднялся и, бурю мелких воспоминаний, малых осколочков их жизни, в себе заглушая, сказал тихо, будто жалуясь:

— Я давно уже хочу поговорить с тобой, Наталка... Еще с того вечера...

Снимал и надевал пенсне, то беспомощно, по-детски моргая, то остро, сквозь стекла на нее поглядывая.

— Но изменилась ты очень... Ты нарочно теперь избегаешь меня... А я же хотел только хорошего... Я хотел...

И уюлок.

— Ты закончил? — спросила погода Наталка. — Все сказал?

— Нет, — рванулся к ней Иван Семенович, — мне так много нужно сказать тебе... Объяснить...

А сам махнул безнадежно рукой и, в угол отойдя, прошептал:

— Говори ты...

Наталка усмехнулась в чашку и, дважды тепленького чаю прихлебнув, сказала задумчиво:

— Чудак ты, Иван... Волнуешься, когда нужно спокойным быть... Вот и кажетя тебе, что я не такая, как раньше. А я та же самая. Прежняя. Это ты иной, — подняла она на него спокойные, внимательные глаза. — Это ты теперь все по-новому видишь, с другой стороны... А что молчаливая я стала — возможно. Ведь пойми же ты, что должна я теперь много чего передумать. Понимаешь? Переосмыслить. А когда станет мне все ясно, тогда и поговорим. — И неожиданно закончила иным — будничным — тоном: — Садись, я тебе чаю налью. С вареньем.

Как в детстве, в блюдечко наливая, выпил Иван Семенович два стакана, смакуя пахучее из антоновки варенье, и хоть не хотелось, выпил бы и третий, и четвертый, так понравилось ему около этого беленького стола: допевает, угасая, самовар, шелестит страничками Наталка, ну вот и закрыла книжку и, доброй ночи пожелав, ушла к себе.

И тихий, с нотками вечерней усталости голос ее, а точнее, скупые несуетные ее движения, даже блеск гладеньких белых дверей, за которыми скрылась она, — все навало Ивану Семеновичу покой, уверяло, что все хорошо будет...

«Как это прекрасно сказала она — переосмыслить, — улыбался Иван Семенович, ложась спать и чувствуя, что спать будет крепко. — Не пережить — нет, а переосмыслить... Так и нужно. Ведь там, где действуют инстинкты, надо противопоставить им светлый разум».

И думая, что с таким союзником, как Наталка, выйдет он победителем в своей борьбе, выключил Иван Семенович свет.

Но сон не приходил. Спокойные мысли о Наталке вылились незаметно в досадливые — о себе: как мог он быть неуверенным в ней, так заблуждаться, ее природное, такое вразумительное молчание принять за выражение неприязни?.. Теперь он видит свое несправедливое отношение к ней, весь свой постылый эгоизм! Свалил ей на плечи тяготы, какие самому ему не под силу. Сам же он не только надеялся на ее помощь, он еще и ждал, что она утешит его... Какая дикарская жестокость! Нет, какая подлая трусость! Ведь страх же, только страх не давал ему первому заговорить... «Боязнь чего?» — задумался Иван Семенович и сейчас же нарочито завихрил мысли — гнал одну за другой, волей вызывая самые мелкие и незначительные: о том, что нужно подольше и жарче топить печку в доме; о текущих управленческих делах; о Звирятине — сможет ли тот заменить его в отпуске... А в памяти проплывали обрывки разговоров со Сквирским, писаренково «омещаниваешься», последние встречи с Куницей...

Иван Семенович скинул одеяло и босиком, от прикосновения к ледяному полу вздрагивая, пошел к столу за куревом, не дойдя, повернул и, тихо дверью скрипнув, оказалась на кухне.

«Будто злодей», — подумал он, осторожно, чтобы стулом не загреметь, прокрался дальше и уже под дверью Наталкиной комнаты окликнул тихо:

— Наталка? А, Наталка?

Писклявый, несмелый голос поразил его самого. Неприглядным увиделся ему он сам — взлохмаченный, в несвежем белье, босой, стоит под холодной белой дверью и умоляет: «Наташа!» Вздрыгнул противно и, чувствуя, как обливает его тело липкий да холодный пот, отступил от двери, и представилась ему картина при-

гляднее: лежит она в теплой мягкой кровати, до подбородка пуховым одеялом укрытая...

— Наталка! — хрипло позвал он, и тонким звоном ответили ему хрустальные побрякушки на большой лампе над столом.

Но там, за дверью, было тихо.

Иван Семенович хищно прислушался, но ничего, кроме стука собственного сердца, не услышал. Тогда охватила его горячая злорада, взрыв невыразимой обиды и обманутой страсти.

«Тебе переосмыслить нужно?» — вроде выговаривая Наталке, злился он в пустой темной комнате. «Прикидываешься, что молчишь, будто сама спокойная? Врешь! Слышишь, ты, врешь! Это ты кричишь так!.. Молчанием кричишь! Ведь хоть какая ты, а не можешь простить, женскую ревность в себе перебороть... Святость двуспальной постели порушить!»

Сжал кулаки Иван Семенович, чтоб одним ударом открыть дверь, но защемили его недавно до крови поцарапанные пальцы... Сникнув и дыша с присвистом, на мебель натываясь, удирал к себе, боясь, чтобы не открылась дверь, чтобы не позвала Наталка.

А у себя курил за сигаркой сигарку, горьким задыхаясь дымом, пока не замерз, на углу стола сидя: после лег и, угревшись, впал в тяжелую дремоту, будто нырнул в темный, густой, мутный пруд.

XIII

Ночь истомила Ивана Семеновича. Проснулся с разбитой головой и долго лежал, вяло прислушиваясь к тому, что делается за дверью. «Завтракает уже», — довольно подумал он; выходит, избежит коротенькой утренней встречи с ней — встанет минут за двадцать, когда уйдет Наталка на службу...

— Иван! Ты спишь? — вдруг постучала она в дверь.

— Нет, — нарочито, вроде сквозь сон, отозвался он, натягивая одеяло на голову: не знал, как встретить испытывающий взгляд ее.

— Пора вставать. Я уже уйду.

Издали добавила:

— А завтрак на кухне возьмешь. В духовке...

Это привычное внимание к нему рассердило Ивана Семеновича — почувствовал в нем хитрую неискренность, желание спрятать за мелким что-то важное и большое. Зачем обманывает она сейчас, всегда честная такая, зачем притворяется она, что не изменилась совсем?.. Изменилась, — вспомнил он минувшую ночь и, не одеваясь, прошел умыться.

Грубым, в холодной воде смоченным полотенцем обтираясь, чтобы горячее бежала по жилам кровь, все спокойнее думал Иван Семенович о том, что обманывает Наталка его и саму себя. Враки все то, не переосмыслить — как вчера сказала, — а пережить все случившееся ей нужно. А раз так, то и рассчитывать он на ее помощь не может, потому что перестал быть в ее глазах человеком, который в поддержке нуждается, он — просто муж, какого простить или покарать можно...

— Судьи! — пробормотал он зло, до красноты кожу на груди растирая. — По какому праву? — подытожил неожиданно смутную прорву bestолковых, дразнящих мыслей, но не ложилась ни одна в этот короткий вопрос — разрасталась в большее: «Ну а ты? Сам ты, по какому праву добиваешься от нее покоя и помощи?»

Иван Семенович прошел к себе, оделся и, не торопясь, направился завтракать. В столовой жалостливо и тонко, как муха в паутине, допевал, угасая, самовар. Это напомнило Ивану Семеновичу вчерашний вечер, пристальные и немного на-

смельшившие Наталкины взгляды, и то, что уже чувствовал он, но не хотел принять окончательно, стало враз бесспорным.

«Изменилась Наталка, — констатировал он про себя. — Не зря же даже глаз ее не узнал»... Но в чем те перемены, не мог разобраться, не мог припомнить, какой раньше была Наталка: только представлял смутно ее еще девушкой — романтической и задорной — давно, в голодные и великие годы... Но прошли после того годы совместной их жизни — хлопотные, работой прекрасные дни — врозь, короткие и привычные уже ночи в купе — и что знает он о ней сейчас? Да разве пытался он это узнать, не кончился ли его интерес, коль скоро из женщины стала она супругой?

«Супруга... Друг», — прихлебывая тепленький чай, усмехнулся Иван Семенович, и не чувство, а болезненное ощущение собственного одиночества охватило его. Все равно из-за чего, и должен он в эти трудные минуты своей жизни сам, собственными силами, без иной помощи за себя бороться...

— Прекрасно, — сжал он зубы, — я поборюсь.

И тяжело ступая, ушел из дому.

В последние дни охотно шел он в управление, ведь меньше пугали его беседы со Звирятиным, нежели раздумья в одиночестве. Да и не выпадало ему разговаривать со своими помощниками: Сквирский почти не показывался в управлении, все время не вылезал из цехов, а Звирятин не разгибал спины за столом — столько было работы. Только вчера, узнав, что Иван Семенович вскоре уходит в отпуск, а он, Звирятин, на то время его замещает, скопил на директора хитрые глаза и уже хотел что-то сказать, вероятно, но сдержался — поклонился покорно, вежливый и корректный службист.

«А знает ли он о... том? — взволновался тогда Иван Семенович, низко к бумагам склоняясь, и сразу успокоился. — Нет! Ведь иначе бы обходился с ним Звирятин, насмешливее. Значит, не развонил...» — признательно подумал он о Сквирском и припомнил, как встретился с ним на другой день после той гадкой сцены у Завадской: смотрел на Ивана Семеновича Сквирский так, вроде не видел его, не был свидетелем случившегося...

Но сейчас безразлично Ивану Семеновичу. Что ему до того, как понимают все это другие, как относятся к нему чужие и в жизни его случайные люди, к нему, взявшему на себя самый большой срам — при живой жене другой признаться. Да и не по тому, как началось это, надо судить, а по тому, как закончится...

— Инженер Звирятин пришел уже? — спросил Иван Семенович курьера, что встретился ему, когда проходил через бухгалтерию. — Передайте ему, что я жду его.

Безостановочный, быстрый цокот счетных костяшек всегда волновал Ивана Семеновича, эта величественная, в простоте своей бескрайне сложная машина — бухгалтерия — поражала его необычным своим механизмом, неподвиженными результатами своей работы: гнутся над большими белыми страницами малокровные с землистыми лицами люди в заношенных пиджаках с залоснившимися локтями, скрипят перьями; длинными, как у хороших пианистов, пальцами щелкают, не глядя на счеты — и вырастают ровные, четкие колонки чисел, где в рублях и копейках точно-точно подсчитана каждая капелька пота, что упала с таких же малокровных людских лиц там, за стенами стукотливой управы, в стенах громыхливых цехов... Слушая эту настырную и монотонную музыку, начинал всегда думать Иван Семенович о том, что, может, и все в жизни можно свести в маленькие цифры, обсчитав и подытожив, точнехонько цену назначив, — и тогда припоминался ему инженер Сквирский, склоненный над сверкающим графинчиком.

— Товарищ Звирятин еще не приходил, — догнал Ивана Семеновича курьер.

— Не приходил? — удивленно переспросил тот и уже в кабинете своем закончил: — Вот тебе и на! Именно сейчас, когда работы много...

И время от времени отрываясь от срочного дела, звонил: «Не пришел ли?» Беспокоило его отсутствие Звирятина, заболел он, что ли? А как же тогда с отпуском, кто его заменит?

— А я уже тревожился о вас, — встретил он Звирятина, какой в конце дня вошел в его кабинет, веселый и озабоченный.

— Беспокоились? — не поверил тот. — Обо мне? — И, широкими желтыми зубами сигару подкусывая, пояснил спокойно и назидательно:

— Неточное высказывание, уважаемый. Не обо мне — с какой стати? — а о себе. О себе, директор. В связи с отпуском.

— Да, я боялся, что вы заболели.

— Я? Заболел? — искренне удивился Звирятин. — Да я, уважаемый, за всю жизнь только пять раз болел: впервые, когда зубы резались, еще маленьким, а четыре раза, дипломатично, при сменах власти... Нет, я здоровый, — с удовольствием закурил он сигару. — Понимаете, совсем здоровый. Полностью. «*Sane mens in sano corpore*»¹, — подмигнул неуместно и таки вроде тайну какую-то выпытывая: — Ну а ваши нервочки как? Теплых краев вымогают?

— Как? — не понял Иван Семенович.

— А так, — грустно пропел стихи:

В теплый край, за синее море
Улетают до весны...

— На курортик тикаете?

Резануло это слово ухо Ивана Семеновича, однако же ответил спокойно и даже удивленно немного, сам на спокойствие и удивление дивуясь:

— На курорт? Да с какой стати?

Сбился с толку тогда Звирятин, даже пеплом сигары светло-серый костюм припудрил:

— Не понимаю, — как-то по-птичьи, одним глазом, посмотрел он на Ивана Семеновича. — Да разве вы не уедете отсюда на время отпуска?

— Нет, я тут остаюсь, — вроде что-то давно решенное высказал Иван Семенович, не понимая, зачем пристало ему такое говорить.

«А действительно, разве это не лучшее, что можно теперь сделать?» — подумал он и, не раз в мыслях к тому возвращаясь, убеждался все больше, что решение целиком правильное, да и не такое уж для него самого неожиданное: не чувствовал он никогда настоящей потребности куда-то отсюда тикать, как сказал Звирятин, это все Куница его подбивал...

Да и с какой стати он должен куда-то ехать? Лечиться и тут сможет, ведь и здесь немало всяких специальных врачей, а тикать — какая это безмозглая затея! Только всполошившись, о деле толком не поразмыслив, мог он серьезно об этом заявлять. А сейчас, столько передумав, такой решительностью вооружившись, — теперь он может спокойно тут оставаться: ничего ему не угрожает. Вообще все это страшно преувеличено и искажено — вся эта история с Завадской. Спокойному и со здоровыми нервами человеку все это показалось бы бесконечно смешным — столько накрутить чрезвычайных трагедий там, где все просто, естественно, и, наконец, ничего не стоило... Подумаешь, событие какое — привлекла его на какую-то неделю к себе красивая и малознакомая женщина! Ну, что же тут такого, вправду, ради чего бы так нервничать и других нервировать? Пустое. Дурь. Было — и нет. Ведь может он спокойно обо всем этом думать, как о давно минув-

¹ В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

шем, совсем закончившемся... Остается только последнюю точку поставить: пойти к этой самой певице, поведать ей все и хорошо посмеяться...

К вечеру это стало решенным: ему непременно нужно идти к Завадской, — нельзя же даже не показаться после той нелепой выходки... Придет, попробует все это как-то ей объяснить, попросит простить — и конец. Конечно, неприятно теперь попадаться ей на глаза, но и не навесить не годится: черт знает что подумает о нем и она, и этот Сквирский...

А что тяжело ему идти к ней, это уже хорошо, еще больше оттолкнет это его от нее. Единственное, чего не может мужчина женщине простить — это чувство стыда перед ней...

Открыла ему дверь не горничная, а пожилой уже, дородный с роскошной седой бородой человек; походил он, не мог припомнить Иван Семенович, на какого именно писателя.

— Вы ко мне? — недовольно, тоном человека, от интересной книжки оторванного, спросил он Ивана Семеновича.

— Нет, — растерялся тот. — Я к Завадской.

— Так чего же вы звоните так? — рассердился немного бородач. — К Ирине Эдуардовне — два звонка. На двери написано...

И быстренько скрылся в прихожей.

Не знал, что делать Иван Семенович. Или, возвратившись на лестницу, позвонить как следует — выйдет тогда в прихожую девушка в черном, служанка; или, пройдя вперед коридором знакомым, постучать к Завадской в дверь...

«Да ее, возможно, и дома нет — в опере...», — подумал он, заметив, что нет пальто на вешалке. И, не раздеваясь, пошел дальше.

«Нет, дома», — услышал он в коридоре живую чью-то беседу за дверью гостиной у Завадской: казалось, спорили там двое — захлебываясь словами, дрожал негодованием и близкими слезами теплый женский голос, а ему отвечал коротко и сухо скупой и насмешливый — мужской.

«Сквирский», — качнуло назад Ивана Семеновича, но в миг тот донесся отчаянный женский голос.

— Пожалей же меня! Да пожалей же! — проплыл из-за двери низкий контрольный выкрик.

Иван Семенович рванулся вперед, всей тяжестью тела открывая дверь.

Говорила Завадская горько — лежала она на диване, бессильно свесив руки.

— Видишь, до чего дошла — жалости у тебя мало...

Сквирский промолчал. Глубоко в карманы пальто руки засунув, стоял он посреди комнаты к двери спиной, спокойно и внимательно рассматривая распластавшуюся перед ним женщину.

— Молчишь? — свела на нем горячие очи.

— Молчу, — согласился Сквирский и шагнул к столику, где графин поблескивал.

— Ну, так я скажу! — кинула люто.

— Говори, — налил рюмку водки.

Дышала тяжело, ноздрями, тонко очерченными, дергая:

— Чего ты хочешь от меня, Владимир? Мало тебе муки моей? Доказательств тебе мало?

— Не мне, — прохрипел нудно Сквирский. — Тебе. Я уже много раз говорил это...

Не мог понять Иван Семенович — гневом или страстью полыхнул голос женщины:

— Мне, Владимир? Мне? Ой, нет! Мне все ясно... Так ясно! — Заломила руки. — Только ты, Владимир! Только ты!

И враз выпроставшись, как будто бросая вызов, выкрикнула:

— А не ты, так все равно! С каждым жить буду! С первым — лучшим! Вот с ним! — гордым кивком подняла она голову, пренебрежительно в сторону Ивана Семеновича плечом повела.

— С ним? — обернулся удивленно Сквирский, и, узнав Ивана Семеновича, посветлел, казалось, пришла ему на ум идея богатейшая:

— С ним? — задумался он на минутку, вроде сложную задачу разрешая. — Попробуй.

Тогда подошла к нему Завадская и, руки ему на плечи положив, глаза в глаза поглядела, будто хотела увидеть, что там в них, если в глубину заглянуть.

— Ты это серьезно? — еле ворохнула устами.

— Попробуй, — протянул тот замысловато. — Вот поживешь с другими, может, и не будет тянуть тебя ко мне... А? — свел он на ней любопытный взгляд.

А она опустила голову и, молча, ушла из комнаты.

— Пошли и мы, — предложил Сквирский Ивану Семеновичу, пропуская его в коридор.

Шли молча. Только на перекрестке, где нужно было ему свернуть, спросил инженер:

— Разобрались?

— Разобрался, — усмехнулся Иван Семенович, вроде драгоценное что-то, в обе руки принял узкую, длинную ладонь Сквирского.

XIV

Постучав, Наталка вошла, не дожидаясь ответа.

— Ты очень занят? — задержалась она на миг у двери.

— Н-да... То есть нет... — пробормотал Иван Семенович, чувствуя, что все одно теперь, занят он или нет... — Допишу сейчас...

Заложив руки за спину, стала Наталка в углу возле печки, серым силуэтом в тени вырисовываясь. От зеленого света лампы казалось ее лицо неестественно бледным, с темными впадинами вокруг глаз, а сами глаза светились только иногда, когда поворачивала голову. Внимательный ее взгляд не давал Ивану Семеновичу писать: казалось, овал он руки ему невидимой, но крепкой и тяжелой сетью.

— Вот и закончил, — спрятал он руки на колени, хоть и не дописал до точки.

Наталка молчала.

«Может, это она так только... посумерничать?..» — подумал Иван Семенович. Но не становилась от этого молчанка легче: все одно, надо было положить ей конец.

— Ты что, Наташа? Дело какое или просто так?

— Поговорить, — ответила устало. — Все нервировала тебя, что молчу, теперь поговорим. Час настал... Или, может, не хочешь?

Хотел сказать Иван Семенович, что не нужно этого: не потому, что он не желает, а совсем не надо, никогда, поскольку и говорить не о чем — кончилось... Да и кончилось так удивительно и неожиданно, вроде очнулся после тяжелого и неприятного сна, в котором, как обычно бывает во снах, все переплетено фантазматично, в облике одном иное понимать надо. Хотел, но не сказал, ибо что с того, что кончилось для него, — для Наталки ничего не кончилось, для нее, возможно, лишь началось...

— Ну что же, поговорим, — скосил он на жену удивленный взгляд, видел, что нервничает она, непривычно мается, кутаясь в шаль. Не мог припомнить Иван Семенович, чтобы видел ее такой, напротив, помнит ее всегда спокойной и выдержанной, уравновешенной и холодной... «Значит, важное что-то хочет сказать», —

подумал спокойно, и чем больше убеждался, что не нервничает Наталка, тем все спокойнее становился, рассудительнее.

— Ты не волнуйся, — посоветовал, когда, закусив губу, начала ходить из угла в угол: и добавил неожиданно для самого себя: — Наташенька...

Хотелось ему сказать ей что-то такое ласковое и товарищеское, что дало бы ей почувствовать близость его; постичь его силу и незаурядность, потому как казалась она незащитной и маленькой, изнуренной так, что не обойтись ей без его, мужниной, руки. Это наполняло его забытой радостью — значит, вправду близкий он ей и необходимый, если так переживает; значит, не ошибся он, когда в минуту слабости желал на плечо ее опереться... Значит, друзья они... Больше — супруги.

— Я обдумала все, Иван, — вдруг задержалась она напротив него, но не остановилась и через плечо, с угла уже, добавила: — И теперь ясно мне: мы должны развестись.

Не дослышал, казалось, Иван Семенович — все улыбался ласково, но уже только губами, вроде забыл их сомкнуть, а верх лица стал серьезным, зеленой — из-за лампы — бледностью отливая.

— Как ты сказала? — вроде тугой на слух, повернул он ухо.

— Должны развестись.

И вроде с этими словами спала у нее тяжесть с плеч — выпрямилась и вздохнула с облегчением; да уже не смотрела на Ивана Семеновича, отошла к окну и, ногой с стекла поскрипывая, подчеркивала этим тишину, которая установилась за спиной.

А когда обернулась, — дергался правый уголок губ у Ивана Семеновича, в криющую гримасу переходила улыбка.

— Зачем это ты? — со смешной, как у старого граммофона, хрипотцой выкрикнул он. — Зачем, Наталка?

И уже остановиться не мог — все, что за долгое молчание было передумано, рвалось на язык, искало выражения. Кидал беспорядочно слова, обрывал неожиданно предложения и снова торопился говорить; казалось, боялся, что, замолкнув на миг, не сможет больше заговорить. Зло и едко укорял, что поняла его помещански, нет, совсем понять не захотела; то умолял искренне не спешить — ведь не обсудили они всего, не обдумали вдвоем, — а как же, его не выслушав, может она все это решать; то заверял, что все кончено, что ему даже смешно вспоминать...

Чем дальше говорил, тем волновался все больше, а чем больше он волновался, тем все спокойнее становилась она. Это раздражало мужа.

— Из ревности? — поставил вопрос прямо, неосознанно стараясь унизить ее, чтобы хоть так свою силу почувствовать.

— Нет.

— Нет? — растерялся он перед сложностью того, что в коротеньком этом ответе крылось, и, желая опровергнуть это и доказать свое, кинул:

— Врешь! Уходишь, потому как простить не можешь...

— Мне нечего прощать тебе, ведь ты не виноват передо мной. Ну, скажи, в чем вина твоя, какой я простить не могу? Скажи! — усмехнулась она глазами. — Нет, Иван, не то. Совсем не то...

Он молчал. Правда, в чем грех его перед женой? Его нет, и не было. Он не обидел ее, он не изменял ей, он не оскорблял... Тогда что же? Что отталкивает ее от него?

— Укоряешь, что не поняла тебя... Так вот попробуй меня понять, то и увидишь...

Она села возле стола напротив него и, тупым концом карандаша узоры вывода, говорила:

— Попробуй понять меня, Иван... По-хорошему понять, как товарища. Как человека. А главное — верь самому малому слову моему: только правду скажу, не кроясь, не выдумывая; так искренне, как, может, никогда с тобой не говорила; так правдиво, как тяжело жене с мужем разговаривать...

Ты вот думаешь, что из ревности я... Нет, я не ревную, Иван. Верь мне в этом, как я каждому слову твоему о той певице. Да и как же я ревновала бы тебя — разве не дал ты мне самое большое доказательство своей верности, за помощью ко мне обратившись? Да, ты думал тогда только о себе, тебе безразлично было, что, может, больно мне; больше занят собой, ты совсем обо мне не думал... Но это же не убеждало меня, что ты вправду от меня не оторвался, ведь только к близким так эгоистично относятся...

— А ты вранья хотела бы? — несмело усмехнулся Иван Семенович.

— Нет, ты знаешь. Но я хочу подчеркнуть природу твоей искренности, честности в сравнении с моей... Эта откровенность больше тебе была нужна, понимаешь, тебе; а нужна ли она мне, ты даже не ставил этого вопроса, ведь ты вообще не думал обо мне. Ты не думал даже о том, как я ко всему этому отнесусь, ведь ты и не допускал мысли, что я могу отнестись не так, как тебе надо... Ты ведь во мне только жену видел, забывая обо мне, как человеке... Это и успокаивало меня как жену.

Она поднялась — и широкими мужскими шагами ходила перед столом. Ступая, наклонилась вся вперед, смешно как-то в поясе ломаясь, — сразу натягивали серенькое байковое платье острые лопатки. «Как она сухощава», — представил Иван Семенович ее малограудое тело, острые локти да твердые колени; и испуганно приглушив воспоминания об ином — круглые колени, как крупные спелые яблоки, — думал о том, что и характером она суховата... Вот и сейчас... Вроде задачу какую решая, поясняет... «Вроде Сквирский», — припомнил он длинноносого поджарого инженера.

— Ты думал, что как жена я не могу не помочь тебе в борьбе с тем, что нашей семье угрожает. А раз так, то ты ждал, что помощь моя — особое внимание к тебе, горячие ласки мои, что ли, дадут тебе силу перебороть себя... Привычкой ко мне, как жене, надеялся ты превозмочь влечение к другой...

Она перегнулась через стол и, прямо Ивану Семеновичу в глаза глядя, закончила:

— И, возможно, это так и было бы... Когда бы я того захотела.

Так, вроде вспыхнул перед ним нестерпимый, никогда не виданный свет, зазмурился Иван Семенович, еще и руку положил на глаза, и — показалось ему — долго сидел недвижно, прислушиваясь, как развивается вокруг него и в нем самом широкая звонкая пустота. Из дальнего далека, с другого берега долетел к нему приглушенный, безразличный какой-то голос жены:

— Я того не захотела. А почему? Слушай дальше. Что я имела бы за свою помощь тебе против тебя же? Тебя. Но такой ты был бы заработанным. Пойми это, Иван, заработанный. А я, как и каждая, могу принять мужа как дар, могу завоевать его как добычу, но заработать — нет! Ну а отвоевать тебя... От кого? Ведь никто не отнимает тебя у меня, не хочет тебя отнимать. Это ты сам, сам уходишь от меня... Знаю! Знаю! — замахала на него рукой, когда Иван Семенович лишь нерешительным движением пытался не согласиться. — Скажешь — неправда: все твое поведение, говоришь, возражает этому. Не тикаешь от меня, а цепляешься... А кто уверит меня, что не страх это говорит в тебе, страх порушить привычку... Может, не что иное, а только привычка держит тебя около меня...

Тогда сказал муж, как самое большое оправдание свое:

— Я не люблю ее. Ты знаешь.

Но усмехнулась жена, немного скорбно:

— Да. Это и есть мой главный довод. Потому-то я и ухожу. Ты не любишь ее

больше, ты даже не знаешь ее, и все же тебя тянет к ней, так тянет, что сам, без помощи моей, не можешь противостоять... Ну, а о чем это говорит, для меня ясно: значит, не довольствую я тебя чем-то как жена... Значит, ищешь бессознательно другую.. И может, будешь искать, пока найдешь. Тогда привычкою ко мне, как к жене, не спасешься...

Замолчала и долго ходила из угла в угол: девять раз туда, девять назад, двести шестнадцать шагов; знал Иван Семенович — по диагонали в комнате — двенадцать.

А потом, вроде деловой совет закончив, вывод всей их жизни повторила:

— Так я все это понимаю, Иван, и иначе понимать не могу. Вот же и вывод у меня один: должны разлучиться. Живем отдельно, не связывая один другого. Может, я ошибаюсь, тогда возвратишься когда-нибудь ко мне... Но сам. По доброй воле, хорошо себя перепроверив, как к женщине, которую желаешь, а не как к супруге, к какой привык. Ведь и я, как и каждая женщина, ищу любовь, а не брак. Ведь и я, как и всякая, хочу строить жизнь, а не быт.

Когда закрылась за ней дверь, сидел неподвижно Иван Семенович, все еще руку с глаз не снимая, слушал, как плывет отовсюду безбрежная, звонкая пустота... Она заливает его, тихо колыхая, несла в безвестие, а далеко-далеко, в туманной синеве проплывали все те, кого знал он и считал близкими, то вновь выныривал с иной стороны — казалось, кружились около неведомого центра; сближались на минуту и снова расходились — и кружили, кружили, кружили...

«Дурнота», — приневолил себя подумав Иван Семенович, через силу открыв глаза, глотнул холодного чая, давно стоявшего на столе.

— Фу, гадость! — промямлил вполголоса, сам не зная: или чай сладкий чересчур, или внезапная слабость ему неприятна, и, тяжело башмаками поскрипывая, пошел в прихожую, не мог оставаться и дальше в одиночестве в этой комнате, потянуло на свежий воздух, а главное — в гомон и движение.

Безлюдные окрестные заводские улочки не манили Ивана Семеновича. Темные, хоть и во тьме хорошо знакомые, они угнетали его морозной тишиной, не развивали чувства безысходного одиночества, что расстилалось перед ним как широкая снежная пелена... Неосознанно он устремился в суетливую вечернюю толпу, на неестественно ясный свет больших улиц, к новым, незнакомым лицам, чтобы, отдавая им внимание свое, не прислушиваться к самому себе...

Дождавшись трамвая, он не пошел в середину громохливого старого вагона, — стал на задней площадке и глядел, как исчезают позади в серой мгле неясные очертания предместья, темя точили думы о том, что вот так точно убегает от него и вся его дотеперешняя жизнь... Она, а не он от нее... Что он? Он даже не знает, хотя бы как ее остановить... Да и что значит его, Ивана Семеновича, желание?

Ну, вот вернулся бы он сейчас домой и сказал бы: «Не надо. Пусть все остается по-старому», — так это же ему «не надо», а не Наталке... Она обдумала все, пережила, и ей — нужно. И разве может он не признать ее расчета, разве не права она, как и он? В том-то и сила, что каждый из них прав, и не их вина, что правота не единственной бывает...

«Вот и строй!» — припомнил Иван Семенович беседы Сквирского.

Да разве ж только от твоей воли зависит твоя личная жизнь, разве это только твое строительство? Нет, каждый, кого ты хоть раз допустил к себе, положил в строение свой кирпич, а коль захочет назад взять-то, может, и весь дом закачается; в любом случае план нарушится, архитектура не та будет... Это — как кружево: один узор, да ниточек много; дерни одну — все запутается...

«Ну что же, пускай...», — вяло подумал Иван Семенович, ныряя в густую толпу на перекрестке. Бурный людской поток подхватил его и понес вниз широкой улицей вдоль залитых холодным светом витрин, где сквозь разукрашенное моро-

зами стекло играло красками все, что работа и прихоть сотворили на нужды и развлечение людям. Выбиваясь из общего русла, роились перед витринами толпы любопытных — тех, кто в ближайший час собирался что-то купить и потому с удовольствием разглядывал все и всюду, и тех, кто уже долгое время не мог себе ничего приобрести, следовательно, имели возможность спокойно все разглядывать... Еще больше роилось людей около широких подъездов кинотеатров и кафе. Тут движение заметно утихло, а разговоры взрывались живо, и сразу бросалось в глаза, что все эти люди совсем не желали куда-то торопиться — разве как можно больше услышать и увидеть за короткий вечер, за те столько свободных часов, что оставалось им после рабочего дня...

И еще отметил Иван Семенович: все тут толпились парами или же пару себе искали. Даже голосистые стайки подростков паровались, серьезно — вроде во взрослых игрались — исполняя и в простоте своей сложный ритуал ухажерства, тогда как взрослые нарочно ребячились, незаметно нарушая самими же заведенные правила, чтобы хоть так немного усложнить ту простую игру, что меж ними текла...

А дальше все сильнее волновало Ивана Семеновича желание тоже не одному быть, чтобы мог и он, как все другие, приклоняясь, в чьи-то глаза засматриваясь, почувствовать под рукой чей-то круглый доверчивый локоть... Почему он — лично он — должен отказывать себе в том, что доступно каждому; почему у него получается так сложно все то, что у других элементарно просто?

Да, теперь, когда все в его жизни упростилось так неожиданно, не будет он усложнять ее снова — будет брать то, что дается; надо жить, а не разглаголовать о жизни... Вот приятно ему в обществе Завадской быть, тянет его к ней — нечего противиться, себе и другим голову морочить: а как оно, а из-за чего оно... Жизнь сама покажет, как и что может быть.

Он прочел афишу — Завадская нынче вечером не пела; кликнул извозчика и поехал к ней, надеясь, что в многолюдном — как обычно у нее — обществе сможет он незаметно развеять невеселые раздумья свои. Но у Завадской не было никого, а сама она или приболела, или была очень встревожена чем-то, так показалось, по крайней мере, Ивану Семеновичу: говорила отрывисто и мало, все время курила желтые тоненькие папироски, чего обычно не позволяла себе.

После нескольких незначительных фраз замолчали, тоскливо наблюдая за синими кольцами дыма. Почувствовал Иван Семенович: должен он что-то говорить, но и слов найти не мог, улыбался только некстати, неуместно и виновато; так мучительно было это, что невыразимо обрадовался, когда снова заговорила певица:

— Давайте побеседуем, товарищ Орловец, откровенно... Сумеете?

— Попробую, — ответил серьезно, не разобрав, шутит она или нет.

Завадская прошла по гостинной и неожиданно остановилась перед ним.

— Чего, собственно, ходите вы ко мне? Думали вы об этом?

Сам чувствуя, какой комично растерянный вид у него, поднялся Иван Семенович и переминался с ноги на ногу, вроде пересидел обе сразу или же согреться захотел; затем подумал, что это безрассудство — вытанцовывать перед ней, и растерялся совсем, выпрямился, свесил руки, и стоял, вроде школяр наказанный...

— Не кажется ли вам наше знакомство неестественным немного? — снова заговорила Завадская. — Вы смотрите — у нас даже путевой беседы не было... Вы совсем меня не знаете и, подождите, совсем не хотите знать. А вместе с тем — мы говорим честно — вас тянет ко мне... Не кажется ли вам, что действует тут исключительно специфичный мужской интерес к женщине? Что приходите вы ко мне... ну, как к проститутке, что ли...

— Как? — удивился Иван Семенович и сел. Она поглядела на него свысока, посмеиваясь:

— О, я не говорю, что вы сознательно считаете меня такой, неосмысленно, невольно поступаете так... Да и не только вы, Орловец, все вы, мужчины, хоть и такие разные, в этом сейчас одинаковы — всякая женщина для вас — проститутка. Только к одним вы подходите просто и грубо, затрачивая на то минимум времени и по возможности — минимум денег; а к другим кропотливее... Но в обоих случаях схоже: достигнув своего, уходите вы так же легко и спокойно, как и не добившись, — искать иной, моложе вас, называют это гордо «свободной любовью», старше — втихаря — «распутством»; однако же все нахваливают страсть...

И не это возмущает меня, поймите... А то, что каждый из вас считает, что вправе он навязывать себя женщине! Кому-то глянулась женщина, и он, даже не спрашивая, хочет ли она иметь его среди претендентов на ее ласки, спешит пристать в компанию! О ней самой он не хочет говорить с ней самой; он желает соперничать, бороться, если не торговаться за нее с другими... кавалерами. И коли не посчастливилось в одном месте, он торопится в иное. Ей-богу, иногда кажется, что многих из вас интересует не добыча, а сам процесс охоты...

— Вы упрощаете, — не зная, что скажет далее, начал тихо Иван Семенович и сразу пояснил: — Бывает и любовь!

— Любовь? — снова остановилась она перед ним. — А что называете вы любовью? Ну!

— Я? — и засмеялся с облегчением: слышался в прихожей звонок и следом — звучный женский голос.

— Это балерина, — вздохнул он, встречая блондинку с лорнеткой, радостный, что неожиданно так закончился разговор.

XV

Те самые комнаты и в комнатах все, как раньше, вот же и кажется: возвратится скоро Наталка — дело какое-то задержало, а может, к подруге заглянула... Работая вечерами, прислушивался иногда Иван Семенович, не позвонит ли, не постучит ли в дверь, хоть и знал, что ожидания напрасны, — жена не из таких...

Как уходила, сказала спокойно:

— Вот мы и разлучаемся, Иван...

Ждал этого, знал, что будет, а все же поразился — так неожиданно. Думал, что долго и много еще поговорят, обсудят обстоятельно все, взвесят, а вышло просто как — собрала сумку небольшую, да и конец!

Поглядел на нее растерянно, непонимающе вроде.

— Ухожу я, — пояснила. — Насовсем.

— Уже? — поднялся из-за стола Иван Семенович; заканчивал обедать сам, задержался в управе чуток.

— Чего же ждать? — будто усмехнулась жена. — Зачем?

— Да, конечно, — вяло согласился он, себе удивляясь, что не жалость, а удивительное безразличие угнетает его. Отложив салфетку, сел снова, упираясь ладонями в колени, и молча глядел, как будто впервые видел ее или же навсегда рассмотреть хотел на нее. Перекладывая сумку из руки в руку, стояла перед ним, тоже молча, потом села, а сумку у ног поставила.

— Вот это и все? — указал на сумку Иван Семенович глазами.

— Остальное позже возьму. Чего спешить.

— Конечно.

Еще посидели молча, как малознакомые, кому говорить не о чем.

— Брысь! — вдруг прикрикнула она на кошку, которая подкрадывалась к столу с едой, и поднялась.

— Ну, я пошла, Иван...

Он и сам поднялся и вышел за ней.

В прихожей подал ей пальто. «Не впервые ли?» — подумал.

Она усмехнулась, сказала:

— Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо... Слышишь, Иван?

— Слышу.

— Ты пойми: не ревность во мне и не гордыня.

— Понимаю.

— Я знаю: не любишь ее... Но и меня не любишь, наверное... Тянет тебя к иным — ищи, пока успокоишься. Я тоже среди других стоять буду; почувствую, что я тебе нужнее — приходи. А быть для домашнего употребления не могу. Только я. Понял?

Он кивнул головой.

— Возможно, переборол бы себя, если бы остались с тобой... Но зачем я буду неволить тебя? Честный и свободный выбор признаю, а не принуждение или привычку...

— Ну, прощай, — протянула она руку и уже из-за двери крикнула: — Адрес я на комодке оставила!

Иван Семенович закрыл двери на ключ и долго ходил по комнатам, думая о том, как в простоте своей чрезвычайно сложна жизнь.

На другой день, встретив на заводском дворе Куницу, сказал ему:

— А Наталка ушла.

— Куда? — рассеянно спросил Куница.

— Не знаю... Совсем ушла... Развелись...

— Е-о? — подсвистнул Куница и, не зная зачем, расстегнул свою кожанку.

Потом, поискав неведомо что в боковых карманах, снова старательно застегнулся и сложил руки.

— Н-да... — поглядел он вверх на высокую антенну над управленческим домом. — Дела... А все ты, Ванька, все ты... Психология! Философия. Накрутил — вот теперь и разматывай... Да...

Куница говорил, вроде себя оправдывая, а Ивана Семеновича обвиняя:

— Я же тебя предупреждал, а может, не надо было. Баба, она, Ванька, баба и есть... У нее, браток, своя мерка. Она знает: черное — черное, белое — белое... А ты с экспериментами всякими... Вот и вышло... А главное, понять не могу: еще и не грешил, а уже каяться начал...

— Не каяться, — покривился Иван Семенович и начал долго и обстоятельно пояснять Кунице, как по его плану могло все это выйти, да как оно вправду из-за Наталки закончилось; потому — не так товарищу, как себе самому, повторял все, что она говорила.

— Здорово! — покрутил головой Куница. — Так здорово, что аж чересчур... А может, она права? Проверь себя, Ванька? — поглядел он несмело на Ивана Семеновича и сразу зашепел: — А, впрочем, не советую ничего, не могу советовать... Твое дело, Ванька, сам думай...

Но о чем мог думать теперь Иван Семенович? Разве не решено все за него; разве все они, даже Наталка, не толкают его к тому, против чего он артачился? Разве не Наталка поставила его перед необходимостью искать другую женщину? Она! Только что означает искать — для него, Ивана Семеновича? Ведь изо всех он знает лишь двух: Наталка сама уходит, значит, остается Завадская?

Чем больше уединенными вечерами думал обо всем этом Иван Семенович, тем сильнее злился на певицу. Это все из-за нее пошло: если бы не она, текло бы все по-старому, тихо и покойно... Но в чем он может упрекнуть ее? Разве покушалась она на него? Заманивала? Уговаривала? Напротив, она и пальцем не поманила его. Он неинтересный ей, ненужный, безразличный! В общем, он не существует

для нее! Больше никто не существует для нее, только Сквирский! И если б не этот долговязый пьяница, возможно, и она была бы не такая; во всяком случае, не говорила бы с Иваном Семеновичем так, как в последний раз... Потому и не думала бы так, потому и относилась бы к Ивану Семеновичу иначе.

Однажды зародившись, мысли об этом не покидали Ивана Семеновича до тех пор, пока не смутили как-то вечером: почему бы ему самому не изменить всю ситуацию, почему не попробовать ему устранить инженера Сквирского? Напрасно он гнал мысли прочь, они одолевали его все сильнее. Начинаясь о чем-то ином, они незаметно переходили на то же самое, запутанное и невыразимое, короткое и яркое... Без Сквирского он смог бы, собственно, взять от нее то, что можно взять от всякой женщины, ведь больше ему и не нужно от нее. А раз так, это вернуло бы ему утраченные покой и равновесие; во всяком случае, убедило, что Завадская как Завадская, нужна ему в жизни ни больше ни меньше, чем всякая иная случайная женщина. Отринувши же ее, он, конечно, возвратится к Наталке...

Что до инженера Сквирского, то устранить его довольно легко: Иван Семенович мог бы отправить его куда-нибудь, когда нужно, даже на долгое время... Пусть бы покатался!

Простота плана озадачила Ивана Семеновича — тяжело было его отринуть. Иван Семенович попытался убедить себя, что это незаконно, но интересы завода давно требовали две важные командировки, какие дальше отодвигать невозможно: надо, чтобы они состоялись до ухода в отпуск Ивана Семеновича. Звирятин должен его подменить, значит, посылать его в командировку нельзя — надо принимать дела, много чего совместно обдумать; выходит, остается Сквирский — из молодых самый серьезный. И не Ивана Семеновича вина, что все так сошлось... Не будь этой Завадской, отправил бы Иван Семенович Сквирского? Отправил бы. Так почему же повинен он теперь терзать себя — этично ли? Глупости!

Иван Семенович растерялся. Знал, что не додумает до конца, чувствовал, что и, додумав, развязать сам ничего не сможет: перепутано все, а главное — не одного его касается. Как может он за всех решать, да хоть бы и за самого себя, если величин, какие входят в задачу, не знает? Дело сложное, а он видит его только с одной стороны, советоваться нужно, с другими сообща обсудить. А главное — не горячиться, не спешить; прав инженер Сквирский — все наши беды от того, что на первом — лучшем — останавливаешься...

И мысль об этом привела его к двери Сквирского.

— Какой неожиданный гость! — встретил его в прихожей Мюфке. — Я говорю, какой приятный гость, товарищ Орловец! Сколько лет, как тот говорил, сколько зим!

Он вытер волосатые ручки о полы засаленного пиджачка своего и кинулся стягивать с Ивана Семеновича бекешу. Низенький, тянул он ее вниз, волоча по полу, удивленный неожиданной тяжестью ее.

— Хорошая бекеша, — приговаривал он, — теплая бекеша! Сразу видно, любит товарищ Орловец тепло... А раз любит тепло — укромное местечко, значит, любит... Гнездышко... Но и другое любит товарищ Орловец — теории всякие... Любит о жизни нашей задуматься... Вот и приходит он к инженеру Сквирскому!

— Да, приходит, — подтвердил Иван Семенович. — Дома он?

— Дома, дома, товарищ Орловец... И при вдохновении, целый вечер и прикладывается. Гость к вам, Владимир Петрович! — постучал он к Сквирскому и, не дожидаясь ответа, подтолкнул Ивана Семеновича к нему в комнату.

— Кто там? — поднялся из-за стола Сквирский и не удивился никак, увидев Ивана Семеновича. — Прошу! — пододвинул он ему кресло и вытащил из-за книжек еще рюмку.

— Читаете? — лишь бы сказать что-то, поинтересовался гость, показывая на раскрытые книжки на столе.

— Да... В общем, — налил Сквирский по чарке.

Выпив, он зажмурился и, казалось, совсем забыл о госте.

— А я к вам, — начал Иван Семенович и замолчал, не находя слов.

— Да, — согласился Сквирский. — Говорите.

— С повинной.

Сквирский глянул на миг и снова зажмурился так быстро, что показалось, подмигнул он Ивану Семеновичу весело и с намеком.

— А грех в чем? — спросил он равнодушно.

Иван Семенович встал и прошелся по комнате.

— Видите, Сквирский, я хотел вас усладить отсюда... Дела делами, а мне лично нужно это... По крайней мере, кажется иногда, что нужно...

Сквирский раскрыл сначала правый глаз, потом левый, а правый зажмурил — вроде сравнивал зрение; дальше открыл оба и налил себе чарку.

— Рассказывайте.

«Какого черта я тут?» — подумал Иван Семенович, глядя в безвыразительные, казалось, рыбы какие-то глаза хозяина, и сразу разразился словами простыми и искренними, вроде как на исповеди. Говорил тихо и вразумительно, будто не о себе рассказывал, не скрывал ничего и не стыдился; рассказывал все, что пережил, о чем задумал, и с каждым словом чувствовал, как ему становится легче, спокойнее.

— Все, — закончил он, когда поведал об искушении отрядить в командировку Сквирского.

— Все? — довольно переспросил тот и вдруг прошелестел тихим и счастливым смешком: — Это хорошо...

— Что хорошо? — оторопел Иван Семенович, проливая водку мимо чарки. — Что хорошо, наконец? — выкрикнул он оскорбленно, когда рассмеялся Сквирский еще громче.

— Все! — торжественно провозгласил тот, будто тост какой, и, встав, поднял высоко чарку. — Поймите, что этого я сам хочу!

Он подошел к Ивану Семеновичу и молча, положив ему руки на плечи, глядя какое-то время на него, будто убеждался, можно ли ему все сказать.

— Вы меня откомандировать хотели — именно этого я и хочу. Вру, простите, не в командировку хочу, а желаю совсем отсюда уехать, в другое место перевестись. Потому и радуюсь, вижу, что поможете. У меня уже все готово, уже и приглашение на новую службу в кармане; надо только, чтобы вы не задерживали, чтобы дал завод свое согласие...

Он помолчал, паузой подчеркивая просьбу.

— Вот как человек человека, не как начальство прошу я вас: помогите мне отсюда перевестись. Вы же знаете, бывают обстоятельства... Всякие бывают обстоятельства, — неожиданно подхихикнул он и, подойдя к столу, налил себе чарку.

— Поможете? — поднес он ее на уровень глаз и пронзительно посмотрел на Ивана Семеновича.

Блеск ясный нестерпимо мелькнул то ли в очах его, то ли в чарке; острый такой, что заставил отвернуться Ивана Семеновича.

— Ну? Поможете? — вскрикнул нетерпеливо Сквирский.

— Зачем вам? — хотел спросить Иван Семенович, да чувствуя, что важны для него не причины, а последствия, ответил:

— Конечно, коли надо вам...

Сквирский выпил и сел, задумался.

— Теперь поговорим. Только откровенно, — опередил он Ивана Семеновича, а

тот, подойдя к книжному шкафу, тупо глядел на непонятные ему на иностранных языках надписи на корешках книг.

— Значит, вы думаете, что это не любовь? — не акцентируя вопроса, процедил Сквирский и сразу же, не дожидаясь ответа, подтвердил: — Разумеется. Чтобы полюбить женщину, надо полюбить ее как человека. Искать в женщине человека — это суть любви; в ней разность полов подчеркивает единство естества. Но что вам Завадская как человек?

Иван Семенович молчал, да Сквирский и не потребовал его реплики; опершись на локти, говорил сосредоточенно, будто диктуя что-то важное стенографистке:

— Итак, это обычное влечение, элементарная страсть, для какой женщина есть женщина; это есть вожделение, для которого часто имеет значение лишь женский пол. Это явление потребности, что толкает мужчину к женщине, независимо от ее индивидуальности и сути; это есть надобность вообще — в женщине, персонификация которой не обязательна и в большинстве случаев целиком случайна.

Иван Семенович посмотрел на него, не понимая, зачем тот все это говорит.

— Я упрощаю, — успокоил его инженер. — Подытоживаю. Любовь — это поиск и выбор; страсть — это стихия и случай. В любви каждый из нас выбирает кого-то среди тех, к кому он может пылать страстью.

Он помолчал, чтобы с удовлетворением закончить: «Вот мы и поговорили!» — хоть Иван Семенович за все время и слова не вымолвил.

— А теперь едем!

— Куда? — удивился Иван Семенович.

— К Завадской.

Так решительно заявил это Сквирский, что Иван Семенович сразу почувствовал — возражать поздно. Скрутил большую сигарку и пошел одеваться.

Ехали молча, только Сквирский приговаривал иногда: «Прекрасно... Погляжу...» У двери, подняв уже руку, чтобы звонить Завадской, сказал:

— Пусть не удивляет вас, что я с вами откровенен... По-моему, так и надо — не прятаться со своей жизнью. Меньше ошибок сделаешь.

Завадская вышла в гостиную вялая и неприветливая.

— Что с тобой? — сразу заметил это Сквирский.

— Пустое, не беспокойтесь, мигрень.

И удивленно, не понимая, к чему он снова здесь, посмотрела на Ивана Семеновича.

— Садитесь.

— Мигрень? — недовольно протянул Сквирский. — Досадно. Я надеялся на коротенькую, но важную беседу, обязательно в присутствии товарища Орловца... Предпоследний акт нашей драмы! И под занавес!

И, вроде забыв о ее мигрени, повернулся к Ивану Семеновичу:

— Мы говорить будем просто, как люди, что встретились на узкой тропке над пропастью... Такова наша жизнь: пропасть и узкая тропка над ней...

Он налил себе чарку водки и выпил.

— Этой женщине, — показал он на хозяйку, — кажется, что она любит меня.

Иван Семенович посмотрел на Завадскую: она сидела, откинувшись на спинку дивана, и не то боль, не то смех трогал ее щеки.

— Говорю «кажется», потому что все это нужно еще хорошо испытать: может, это и не любовь, а что-то гораздо элементарнее. Вот и у вас, — серьезно поклонился он Ивану Семеновичу, — есть все для того, чтобы казалось, что вы любите ее, даже очень...

Он усмехнулся иронично и повысил голос:

— Следовательно, каждый из вас должен крепко и внимательно себя перепроверить. Для этого я уезжаю отсюда.

— Куда? — не шевельнулась Завадская, только по ее лицу пошли серые пятна.

— Далеко и навсегда. Я исчезаю, чтобы дать тебе возможность поставить на мое место других: может, и не обязателен я, Владимир Петрович Сквирский, инженер и пьяница. Это бывает: субъект возбуждает в ком-то страсть, а неудовлетворенное вожделение чье-то само ищет себе объект. Об этом напоминать тебе будет присутствие товарища Орловца.

— Ну, а если проверю? — едва слышно спросила Завадская.

— Тогда приедешь ко мне.

— Куда?

— На Урал. Я нарочно выбираю его — там нет оперы.

— Что? — побледнела Завадская, прикрыла ладонью глаза, будто боялась глянуть в ту пропасть, что пролегла перед ней.

— Да, это последнее твоё испытание: я или музыка. Допустим, что, перепроверив себя с другими, признаешь: из всех люб только я... Чем же ты докажешь, что снова не ошиблась. Отдашься мне? Доказательство наименьшее. Ведь при некоторых условиях ты можешь отдаться и другим. Нет, этого мало. Говоря: «Только ты!» — должна дать доказательство, какое ты не дашь никому больше: не совместное ложе, а частицу себя самой!

Дивное чувство окутало Ивана Семеновича: разве не то же самое говорила ему Завадская, когда в последний раз виделся с ней? К чему же глядеть теперь на Сквирского потрясенно, как будто и мысли не допускала, что такое слышать можно...

— Я не знаю, — шептала она растерянно. — Я не знаю... Это же безумие! Пойми же, что ты сумасшедший...

— А ты же любишь меня, — усмехнулся он горько. — А возможно, и не знаешь, какой я...

Он налил себе чарку, а руки его дрожали, и тихо звенело стекло...

— Зачем это вы? — устало допытывался Иван Семенович.

Тот повернулся к нему, бледный, как никогда:

— Недогадливый вы, товарищ... Я же люблю ее.

XVI

Провожала Сквирского Завадская с Иваном Семеновичем.

Прибыли на вокзал, когда Сквирский уже управился со своим багажом и, не суетясь, расплачивался с носильщиками. На перроне было малоллюдно, и они еще издали заметили высокую и тощую фигуру инженера.

— Вот и он, — испуганно прошептала Завадская, на миг остановившись так неожиданно, что Иван Семенович, спешивший за ней, едва успел отступить.

Сквирский встретил их спокойной улыбкой.

— Добрый вечер! — поклонился он, не подавая руки, но уже Завадская сама схватила ее порывом таким, как будто хотела спрятать ее у себя на груди. Казалось, не отпускает она Сквирского, чтобы много-много — короткими да болочими, обжигающими, как уголек, словами — сказать ему, но не успевала слова те находить, и только смотрела на него с укором и мольбой. <...>

XVII

Будто остановилось житие Ивана Семеновича. То все вперед и вперед шло, ширилось ли, сужалось ли, но развивалось, менялось; в последнее время даже утомляло калейдоскопичностью перемен, много нового и неожиданного, а то вроде вдруг все вычерпалось: минует день за днем — все, как один... Будто замкнутый какой-то круг.

Эту мысль подал ему однажды Звирятин.

Встречаясь с Иваном Семеновичем у Завадской, он теперь ничем не выделяет его среди других — ни одного намека, ни единой усмешки, разве что пронзит острым взглядом, как услышит певицыно «Орлик»... На заводе тоже сухой и корректный — ни лишнего слова, ни праздного взгляда: таков, как и раньше был, горделивый спец, «англичанин»... С того часу, как выехал Сквирский, хорошо это помнит Иван Семенович; однако же почему — понять не мог, пока не выяснилось это в коротенькой и случайной беседе однажды вечером, когда вышли они одновременно из оперы, где после долгого перерыва с большим успехом выступала Завадская.

Сошлись они случайно около последнего извозчика, и чтобы не ехать вдвоем, каждый решил идти пешком; так и получилось, что пошли они рядом.

— Прекрасная актриса! — с квартал помолчав, вроде сам себе проговорил Звирятин. — А все же не скажу, что в ней лучше — актриса или женщина... Собственно, для меня они сливаются, одна другую дополняет... Не говорит ли вам это кое-что о самой природе искусства?

Иван Семенович промямлил что-то невразумительное. Он не прислушивался к словам Звирятина, обеспокоенный тем, что, может, до самого завода придется идти вместе...

Это заметил Звирятин.

— О, я вижу, что на вас это произвело еще большее впечатление! — бросил взгляд на своего спутника. — А интересно, что вас в ней восхищает? Певица? Актриса? — спросил невинно, а ответа не дожидаясь, вроде припомнил: — А я до сих пор вас не поблагодарил! Все забываю...

— Меня? За что? — удивился Иван Семенович.

— Ну, как же! За ту услугу, что вы сделали для меня...

Иван Семенович глядел на него, не понимая...

— Ах, вы же актер! Какой наивный, — рассердился слегка Звирятин. — И не абы какую услугу, а величайшую. Это же вы сумели убрать с нашей дороги Сквирского... Говорю с нашей — ведь мы с вами, дозволите открытым быть, по одному следу гоним. На одну дичинку охотимся...

И заметив, что Иван Семенович хочет возразить, говорил торопливо:

— О, я понимаю, конечно, что вы не обо мне беспокоились, многоуважаемый! А все же, хоть и против воли своей, но и мне помогли крепко... Без Сквирского нас, претендентов, так сказать, — только двое осталось — вы да я, а это куда легче и проще!

Горячая волна захлестнула Ивана Семеновича. Он расстегнул бекешу и как холодную воду, пил морозный воздух и не мог напиться: все еще душило его желание ударить — какая это была бы звонкая, соковитая оплеуха! — в жирное насмешливое лицо Звирятина... Так его, Ивана Семеновича Орловца, оскорблять! Такое о нем подумать? Как он посмел? «Как вам не стыдно?» — за малым не выкрикнул он, да припомнил свой последний визит к Сквирскому и сдержался пораженный: ведь и вправду был он близок к тому, что приписывает ему Звирятин...

А тот разглагольствовал, минуя еще одного извозчика на перекрестке:

— Да, задача — двое и одна — развязывается проще: один из двух, ежели не оба, конечно. Без Сквирского шансы мои значительно вырастают, как же не благодарить вас, многоуважаемый? Особенно взяв во внимание, что и в общем я имею лучшие против вас данные... А? Хоть и вы, нужно сказать прямо, серьезный, — протянул он, покрутив головой. — Да... Эта история со Сквирским... Потрясающий ход, многоуважаемый, — шах королеве! Я, признаюсь, и за себя какое-то время переживал... Даже чемоданчик готовил! — рассмеялся счастливо.

«Так вот почему не цеплял он меня — боялся...», — криво усмехнулся Иван Семенович.

— Посмеиваетесь? — по-своему понял это Звирятин. — Думаете, попался жучок пану в ручки; поведедем, видно, героине, какой такой этот Звирятин, как он элементарно и цинично все понимает... Не боюсь, многоуважаемый, не расскажете! А хоть бы и рассказали — только выиграю! Заинтригуете героиню моей персоной, сами ее внимание ко мне привлечете <...>

XVIII—XXI

<...> У Завадской не светилося.

«Спит, — подумал Иван Семенович и поглядел на часы:

— Одиннадцатый — это прекрасно, что спит, — ласково улыбнулся, — пусть сил набирается...»

И уже хотел идти прочь, как увидел невдалеке две фигуры — вроде друзья какие-то, так привычно приклонялся мужчина к женщине. «Нет, не спит», — узнал Иван Семенович певицу и растерялся, не зная, как ему быть: не хотел, чтобы она его видела после всего, что случилось, под своей дверью, — могла неправильно это понять... А главное, этот человек! Снова какой-нибудь лысый актер или необыкновенный интеллигент... Э, нет, довольно их Ивану Семеновичу! Хватит. Он подождет здесь, пока пройдут, а тогда направится домой.

Войдя в темный подъезд, он ощупью забился в угол под лестницу, что вела на второй этаж.

«Будто злодей, — подумал он, а услышав, как скрипнули входные двери, поправился: — Или шпик».

Вместе с холодным воздухом донесся ему шелест мелких ее шагов и приглушенный баритон Звирятина:

— Это преступление, дорогая, большое преступление. Против природы, а главное — против себя. Так скажет вам каждый, даже ваш цербер — этот самый Орлик. Да и что говорить, вы сама понимаете прекрасно.

Женщина засмеялась, будто задыхаясь от приятной и нежной ласки; так никогда не смеялась она при Иване Семеновиче.

— Да и кому нужно все это вранье, эта ваша глупая игра в молчанку? Ведь никто не поверит: Кармен — Пенелопа!

— Вы не верите? — устало и безразлично спросила женщина.

— Даже никак! Да и страсть моя к вам из-за того лишь, что вы — сама страсть. Это чувствуется в каждой мелочи, в каждой смешинке, в манере дышать даже... Вы — огонь, который вспыхнет, хоть как его ни сдерживай!

— И вы ждете этого?

— Да, я жду.

«Ах, ты сволочь!» — хрипло, гнев сорвал ему голос, прошептал Иван Семенович, как громыхнула наверху дверь и на лестнице все затихло. Он вышел из подъезда и перешел на другую сторону улицы, все не спуская глаз с ярко освещенных окон Завадской. «Ах ты, сволочь!» — хотел он опознать на шторах тень Звирятина, но там просматривался лишь четкий силуэт певицы. Быть около нее охватило его желание: видеть ее всю, слышать, а главное — встать между ними, помочь ей... Помочь...

Он зажмурился, не в силах вырвать из потока мыслей одну — наинужнейшую, а когда открыл глаза — не поверил: свет в окнах потух.

Он протер глаза — темно.

— Ах, ты ж сволочь! — вырвалось из сердца стоном, и побежал назад через улицу, гонимый болью и отчаяньем.

У двери Завадской не мог отыскать кнопку звонка — стучал изо всех сил, но никто не выходил.

Долго-долго, минуто... час... вечность...

— Поздно... Уже поздно... — шептал бледными устами, прислонившись к холодной стенке. Чувство непоправимой обиды угнетало его изнуряющей усталостью.

Наконец послышались за дверью медленные шаги и недовольный голос горничной:

— Кто там?

Она приоткрыла, не сбрасывая цепочку, двери и выглянула на лестницу.

— Вы? — не скрыла смущения, Ивана Семеновича увидев, в замешательстве глаза опустила. — Ирина Эдуардовна не принимает уже... Она спит...

— Спит? — сипло засмеялся Иван Семенович и с присвистом зашипел: — Одна?

Глаза горничной стали большими и круглыми — на бледном и напуганном лице, потом — узенькие-узенькие щелки, на покрасневшем и гневном.

— Дурень! — будто плюнула она Ивану Семеновичу и хлопнула перед ним дверью.

Дурень? Да, дурень. Большой дурак. Так позволить себя обмануть! Так дать над собой насмеяться! Так поверить!

Иван Семенович вышел на улицу и еще раз посмотрел на окна — они отсвечивали матово и четко, иногда отражая на миг острые синеватые блики от фонаря, что, поскрипывая, качался на перекрестке.

«Нам с вами, Орлик, так много обдумать надо», — с сарказмом вынырнула из памяти его фраза певичы... «Обдумать!» — с ненавистью поглядел он на холодные окна, всем телом почувствовал душную и пахучую темноту за стеклами...

— Все вы одинаковы! — как самый суровый приговор, кинул он в пустынную безлюдную улицу и, тяжело ступая, пошел прочь, бессильный навести межи въяве <...>

XXII

<...> Было не рано, время, когда служащие прошли, а дельцы не выходили, коротенький перерыв перед торговым днем, пауза необходима, чтобы наготовить весь житейский реквизит. Иван Семенович подумал, что это не впервые ли опаздывает он на работу, и заколебался — не лучше ли ему повернуть домой; но сразу же подумал, что, может, никогда в другой раз не будет случая так отомстить за все то унижение, которое испытал, и пошел...

Никогда днем не бывал у Завадской и саму ее на дневном свете почти не видел, конечно, ожидал: сразу заметит следы бессонной ночи. Но вышла свежая и спокойная.

— Снова вы? — вместо приветствия уронила досадливо. — Что вам нужно от меня, наконец? — сдержанным гневом зазвенел ее голос.

Всего, только не такой встречи, ожидал Иван Семенович. Воспаленное воображение рисовало ему иные привлекательнее картины этого свидания: он бичует — гневный, но справедливый; она молчит — растерянная и посрамленная, самим молчанием прощение выпрашивая. Злая радость близкой отместки за свое рабство привела его сегодня к ней, но за что он должен мстить ей? Разве что за сам факт ее существования, ведь известно, что она ничего от него не хочет и не хотела...

— Как мне все это обрыдло, — прервала она молчанку, недалековидно поглядывая на часового.

— А? — вроде проснулся Иван Семенович. — А со Звирятиным не обрыдло? Еще тошнит?

Она качнулась, как от удара.

— Как вы смеете? — не выкрикнула, а будто удивилась, ладонями закрывая

побледневшее лицо, только глаза большие и недвижные, без цвета, вроде глубина, — глядели, казалось, все так же спокойно. Да на миг, будто от крыла высокой птицы, мелькнула в них тень; только на миг, но и его было достаточно, чтобы узнал Иван Семенович — боль...

— Что? Болит? — прислонился он, коротко засмеявшись, и, бессильный сдерживать слова, что в нем клокотали, кидал их, не вслушиваясь, знал только — жесткие и обидные. Да чем сильнее пьянел от них сам, тем неуязвимее становилась женщина: с каждым словом будто вырастала перед ним, все выше и выше поднимая голову, — вроде, обличая ее, себя унижал. Желание еще раз увидеть в ее глазах тень злило его, как в юности, на качелях, — чтобы заговорила с ним, чтобы попросила простить, признала его правоту...

— Любовь? — уже безголовый прошептал он, почувствовав, что не взять ему верх. — Брехня! Гордитесь правдивой, к Сквирскому, но чем же правдивость любви поддерживаете? Звирятиным!

И умолк: будто переломилась она перед ним, опускаясь на низкий и широкий диван.

— Что вам нужно от меня? — подняла на него измученные глаза. — По какому праву?

И одинокая слеза пощекотала ей подбородок.

Иван Семенович прислонился к стене, и все еще казалось ему — качаются качели, то высоко в небо его возносит, то в темную пропасть ее глаз кидают.

— Что вам надо от меня? Вам... Всем! — Врастерянности заломила она руки. — Кто дал вам право лезть ко мне в душу, навязывать себя? Я же не звала вас! Я никого вас знать не хочу! Дикарей!.. Вы! Дикарь! — зло крикнула на него. — Долго ли еще будете вмешиваться в мою жизнь? Ну, скажите мне, долго? И зачем? Что вам надо от меня? Тела? Да? Тела? — брезгливо не смыкала она уста. — Тела — и исчезнете? Совсем? Будто ничего и не было? Так берите же! — вздрогнула она плечами. — Берите же и — прочь!

Иван Семенович не шевельнулся — прислушиваясь, как ее детский горький плач обернулся нестерпимым рыданием.

— О, гадость! — прятала в ладони мокрое от слез лицо. — Какая гадость!

Он дрогнул.

— Не плачь, — будто к сестре, обернулся к ней и еще раз, как самую большую просьбу свою, повторил: — Да не плачьте...

Тогда подошел, тихо поскрипывая туфлями, к ней, сел рядом и нежно погладил ей, утешая, волосы.

— Не надо плакать... А? Не надо.

Большая жалость полонила его.

Он знал: это безнадежность, но принимал ее, как непреложную, не возмущаясь, не рассуждая. Таким примирение запомнилось ему после случившегося, что иногда казалось, — не с ним все это дейлось...

Как и раньше, приходил он вечерами к ней — там те самые люди, те самые разговоры. Только на столике перед ним появился чисто прозрачный графинчик — маленький знак больших перемен. Цедил, не закусывая, рюмку за рюмкой, думая невыразимые — невыразительностью приятные — думы и иногда встречал взгляд Завадской, усмехался безобидно и ласково. Стало это им необходимостью — улыбаться друг другу, вроде молчаливые, подбадривали они себя этим на великий, другим не понятный, недоступный подвиг. Когда оставались вдвоем, тоже говорили мало, как люди, которые прекрасно друг друга понимают или же никогда понять не могут...

И еще была перемена — не приходил Звирятин.

— Болен он, наверное, — рассуждал громко Скорик. — Я о Звирятине говорю... Или поссорились?

— Нет, — отвечала Завадская так спокойно, что заинтересовался антрепренер:

— Надоел?

— Нет, не больше, как все. — И, глядя на Ивана Семеновича, будто именно ему, пояснила: — Не нужен он мне больше.

И точно так же ненужным почувствовал его Иван Семенович — даже не верилось, что столько ему внимания уделял до сих пор.

На другой день, когда, посмеиваясь открыто, начал Звирятин в его кабинете: «А я, многоуважаемый, похвалиться вам хочу... Скачки наши...» — не дал ему закончить фразу Иван Семенович:

— Вот что, инженер Звирятин, договоримся раз и навсегда: только по делу говорим. Понятно?

И так сказал это — вроде стер усмешку Звирятину; тот посмотрел на Ивана Семеновича изумленно и слинял:

— Слушаю.

Все это смутило немного Ивана Семеновича. Почему бессилён теперь против него этот счастливый его победитель — не потому ли, что знает теперь Иван Семенович — ни он, ни Звирятин... Третий победил их — далекий. Да и не только Иван Семенович в этом уверен, другие тоже замечают — тоскует тут Завадская, мыслями она далеко; и, почувствовав себя лишними, уходят, чтобы больше не возвращаться.

— Только вы остаетесь, Орлик, — погоревала она, когда гуляли вдвоем предвечерними безлюдными улицами. — Не сумели уйти...

Иван Семенович промолчал.

Снежило, смеркалось.

— А на Урале еще холоднее, — подумала она вслух.

— Да, там холоднее.

— Я скоро поеду, — кинула она осторожно.

— Я знаю.

— А вы? Как будете вы?

Он безразлично пожал плечами.

— Разве вы не думали об этом, Орлик?

— Я слишком много о себе думал, чтобы знать, что будет со мной. — И вроде не ей, а себе самому ответил: — Может, и весь недуг мой — что думаю так, где должен нутром выговориться.

Тогда остановилась она против него:

— Орлик! Вот обдумали вы все, перепроверили... Любите вы меня или нет?

Он посмотрел на нее сосредоточенно, потом зажмурился, как в себя глянул, и усмехнулся:

— Что я знаю?

Снежило.

На другой день он заговорил об этом первый.

— Значит, для вас все ясно?

— Все, Орлик.

— И никаких колебаний?

— Никаких. Для меня и прежде было все ясно. Это же Сквирский.

Иван Семенович налил рюмку водки и, глядя, как играет в ней солнечный луч, припоминал того долговязого инженера.

— Вы любите его?

— Да.

— Крепко?

— Крешко.

— Так, что на все пошли бы ради него?

— Пошла бы.

Он поглядел на нее, вроде не понял коротенький этот ответ.

— Вы уверены?

— Я уверена.

Тогда, как милостыню, попросил:

— Будьте со мной открыты, это мне, как голодному — хлеба...

Завадская согласно кивнула.

— Скажите мне, за что вы любите Сквирского?

Минуту какую-то глядела она на него изумленно, затем улыбка шевельнула ее уста; она наклонилась, чтобы спрятать лицо, и сразу брызнула смехом:

— Орлик! Дурень! Да кто же это знает?

— Я пошутил, — опрокинул он рюмку.

В тот вечер ушел он от нее раньше, чем обычно.

Прощаясь, попыталась перехватить взгляд его:

— Ну, а вы, Орлик? Скажите мне о себе...

Он молчал. Наклонился и, взяв руку ее, припал к ней нежным и неслышным поцелуем.

XXIII

День начинался серо. Кружили над городом тяжелые резвые тучи, клубились под мягким ветром рыжевато-сизые, как ленивые заводские дымы: потом разлились ровной серостью, застыли. Нет-нет срывался снежок, шелестел сухо и докучливо; тогда оживали на миг серые глубины улиц — белая рябизна кружила, вихрила туманную дымку, пары — дыхание дворов и домов. Но снова сгущались тени, липли к подоконью, заглядывали сквозь мутные стекла оконных проемов и сонными сумерками разливались по комнатам...

Стены казались серее, лица суровее. Разговаривали скупно, и тоскливо перестукивали костяшки счет; даже стрелки часов двигались медленно. В конце концов, бросил Иван Семенович поглядывать на них, казалось, не будет края этому серому дню, невыразимым, как мгла, мыслям...

Но к вечеру кончились тучи. Вроде небесная плоть, проплывали они тихо на юг, в ночную сторону, плавно, сплошной массой; казалось, поднимает кто-то темный серый шелковый занавес, открывая эмаль ясной голубизны с золотым челном месяца в небесной высоте. Небо дышало холодом, возвращая городу четкость и законченность его контуров, пышность красок, и город встречал его хором звонких и раскатистых голосов, веселым смехом, зазывными выкриками — вечерней симфонией отдыха и торга... И невыразимая тоска о дневной дымке, и тишина охватила тогда Ивана Семеновича: на поголубленных луной улицах, в гомонливой живой толпе почувствовал он себя вялым и тихим, таким не схожим со всеми, одиноким...

Да, теперь он не боится этого слова — одиночество: он может спокойно всмотреться в него, как во всякое иное, ведь не боится он и того, что во всяком слове прячется. Он может теперь спокойно смотреть на все, так спокойно, как вот и на эту толпу.

...Вспомнил Иван Семенович, что сейчас и копейки не оставил себе, не может даже за хранение одежды в театре заплатить. «Придется знакомых искать», — подумал недовольно он, сразу же представил, перебрал каждого из них, включая Мюфке, который и встретил его на входе.

— Наконец, товарищ Орловец! — затоптался он возле Ивана Семеновича. — Я,

наверное, с час вас тут высматриваю. Наказала Ирина Эдуардовна: «Непременно перед представлением приведите Орлика!» То есть вас, многоуважаемый товарищ Орловец, вас...

Юркий, протолкался он вперед, таща за руку Ивана Семеновича, не бросая щебетать: имена, анекдоты, новости, слухи, факты сыпались из его уст так же густо, как перхоть на воротник залоснившейся толстовки.

Иван Семенович забыл деньги? Пусть. Он, Мюфке, с охотой его выручит; даже процентов за это не возьмет... Но ведь какой меломан стал Иван Семенович, а? Так торопиться, что даже деньги забыть! Но Мюфке аж никак не удивился: сегодня не то, что деньги, голову забыть можно! Подумайте только — последняя гастроль Завадской! Непревзойденной Завадской! Это такое музыкальное событие... Такое событие... Мюфке просто сказать не может, какое это событие! Пусть не усмежается товарищ Орловец иронически, — это факт. Э, если бы он видел, что творилось возле касс, он бы не усмеялся! Да! Перекупщики с ума посходили совсем — им платили, сколько бы они ни просили... Но их близким знакомым всем посчастливилось. Все они здесь. Мюфке уже видел Писаренко, Скорика, Звирятина, Трехсветского...

Называя фамилии, семенил он возле Ивана Семеновича, стягивая с него тяжелую бекешу: потом вытер вспотевший лоб и сказал торжественно:

— Теперь я поведу вас к ней.

Так, как и прежде когда-то, провел он Ивана Семеновича извилистыми переходами к уборной Завадской; так, как и тогда, сказал возле двери: «Я вас жду». Только добавил:

— Это уже во второй раз, товарищ Орловец. Помните, приводил я вас сюда... Недавно было, а кажется, очень давно...

— Да, очень давно, — согласился Иван Семенович. — Но это уже в последний раз.

— Будем живы — увидим, — вроде не поверил Мюфке. — Может, еще кто-нибудь придет...

Иван Семенович постучал и открыл дверь.

— Орлик! — пошла ему навстречу Завадская, и только теперь, впервые, увидел Иван Семенович, какая она вправду... прекрасная, — поймал себя мыслью на этом слове.

— Это хорошо, что вы пришли! — подала она ему обе руки. — Мне так хотелось, чтобы был тут кто-то свой!

— Вы волнуетесь?

— Очень, Орлик! Крепко. Это же в последний раз! — засмеялась она счастливо.

— Вы так его любите?

— Больше всех.

— Даже музыку бросите?

Она поглядела на него удивленно, проверяя, не прикидывается ли он, и взорвалась смехом:

— Орлик, вы чудесный! Неужели поняли вы все это дословно? Неужели думаете, что ему и правда это надо? Это не ему, а мне! Да и не бросаю совсем, а узнаю, смогла ли бы бросить, узнаю, что для меня дороже... Уразумели теперь?

— Уразумел, — едва сдержался, чтобы не зевнуть коротенько, Иван Семенович, не зная, что сказать:

— Увидите его, передайте, что желаю счастья...

— А мне, Орлик? Мне вы желаете? — игриво посварилась она пальцем.

— Вы и так счастливая.

— Счастливая! — томно потянулась она всем телом и ушла за шелковую шторку. — Я закончу гримироваться, Орлик, а вы посидите там, поговорим.

То напевая вполголоса, то, неведомо чему, весело смеясь, расспрашивала она его коротко: много ли народа в зале, какой, кого видел он из знакомых; далее сказала, что собирается сегодня всех поразить — так хорошо поет, как никогда; с этого начались ее воспоминания — когда, как и где пела раньше, как принимали ее, что о ней писали...

Дальше слушал ее Иван Семенович все невнимательней, все тоскливей ему становилось. Чего он здесь, в артистической уборной этой певицы? Что ему до ее побед и успехов? Зачем дышать ему густыми запахами ее парфюмерии и пудры?.. Зачем?..

— Вы здесь? — спохватилась она, долго его не слыша.

— Да, тут, — открыл он тихонько дверь и в пропасть вроде — шагнул за порог.

Шел быстро, низко склонив голову, казалось, удирая от кого-то, хотя только Мюфке частил следом на два шага позади.

— Да не торопитесь так! — попросил тот задышливо, когда вышли они в фойе. — Видите ж — не опоздали.

Фойе опустело на глазах. Только у дверей в зал толпились еще опоздавшие, нетерпеливо высматривая что-то из-за плеч передних; зато совсем свободно было в раздевалке. Иван Семенович хотел уж было повернуть туда, когда почувствовал, как кто-то тронул его за локоть.

Он обернулся.

— Наконец встретились, — приветствовал его насмешкой Писаренко. — Чтоб тебя увидеть, надо идти в оперу, говорят...

Он взял Ивана Семеновича под руку и повернул в зал.

— Имею приятную для тебя новость: окончательно решено дать тебе долговременный отпуск...

— Мне решено дать отпуск... — проговорил, усмехаясь непонятливо, Иван Семенович.

Писаренко поглядел на него подозрительно:

— Ну, а недуг твой как? Не лечишься, наверное? Зачах...

Иван Семенович смотрел на него прижмурясь, а виделся ему Писаренко маленький-маленький, так — мышка серая-серенькая...

— Недуг мой кончился, — ответил он сухо и, высвободив руку, пошел к своему креслу в четвертом ряду у прохода. Сел, закрыл глаза — так не хотелось ему смотреть ни на занавес, кровью и золотом разрисованный, ни на стемнелый зал, полный горячей шуршащей тишины. Коротко, одним ртом, раз за разом зевая, день по дню перелистывал он назад страницы своей жизни, пока не дошел до того же самого вечера: льется с дирижерской палочки дразнящая музыка, наплывает со сцены южный солнечный свет, и прямо ему, Ивану Семеновичу, улыбаясь, смотрит в пропасть темного зала высокая, в шали цветастой женщина; и словно не достала его память, — возвратились ему воспоминания снова, день по дню припомнил все, что случилось с ним после того, — пока вновь не открыл глаза: льется с дирижерской палочки та самая дразнящая музыка и, в широкие складки собираясь, колышется темный занавес, чтобы разлить на миг полуденный солнечный свет...

— Я это видел уже, — тоскливо проговорил Иван Семенович и, поднявшись, зашагал к двери.

Туфли его тихо скрипели.

Перевод с украинского Петра ЧАЛОГО

